

ЛАУРЕАТ "РУССКОЙ ПРЕМИИ"
ПРЕМИИ имени Э. ХЕМИНГУЭЯ
ПРЕМИИ имени Н.В. ГОГОЛЯ

ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ

ТРЕТЬЯ
КНИГА
ТРИЛОГИИ

18+

MAINSTREAM



EROS & THANATOS

БРАТ МОЙ КАИН

Валерий Борисович Бочков
Брат мой Каин
Серия «Рискованные игры»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27802315

Брат мой Каин: Э; Москва; 2017

ISBN 978-5-04-089994-4

Аннотация

На развалинах России царствуют где исламисты, где новопровозглашенный «император», а где и никто. Остальной мир закрывает на них глаза, думает, будто новые правители слишком слабы, чтобы представлять серьезную угрозу. Но не стоит недооценивать стремление узурпатора к власти: он готовится уничтожить мир – пусть вместе с собой. Сможет ли современная Юдифь – внучка советского генерала Катерина Каширская – спасти если не мир, но то лучшее, чего добилось человечество? Об этом заключительная книга трилогии-предупреждения Валерия Бочкова.

Содержание

Часть первая. Земля	5
Часть вторая. Огонь	90
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Валерий Бочков

Брат мой Каин

© Бочков В., 2017

© ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

Страх? Да не было никакого страха. И сейчас тоже нет. Я тебе, друг мой любезный, так скажу: страх – самое паскудное на свете чувство. Самое никудышное. Трусом быть – самое распоследнее дело. Ведь трус он не только дрефло и заячья душа, он ведь еще и дурак – трус по дури всегда погибает первым или его свои же расстреливают. После боя... Ты вот только не путай трусость с осторожностью. Осторожность, друг мой милый, это совсем другая материя. Совсем другая.

Да и чем ты, друг мой, рискуешь? Жизнью?

Но ведь есть на свете вещи и поважнее жизни...

Часть первая. Земля

1

Отчего дед обращался ко мне в мужском роде, мне так и не удалось выяснить, он умер тридцать три года назад. Сейчас и отсюда этот временной отрезок – тридцать три года – кажется неизмеримо значительней – лет сто, двести, может, другая жизнь, иная галактика. Впрочем, «сейчас и отсюда» все выглядит как другая галактика.

Почему вспомнился дед? Из-за роз? Да, наверняка из-за роз. После психушки у меня появилась идиотская привычка анализировать свои мысли, искать причинно-следственную связь. Я наблюдала за садовником, подрезающим розы. Старый таджик, тощий, с кирпичного цвета босыми ногами, – на нем какая-то белая хламида, похожая на бабье исподнее, и нелепая шапочка вроде детской тубетейки. Слишком маленькая, с пестрым шитьем по краю. Старик бережно трогал цветок пальцами, точно разговаривал с розой, гладил стебель. Подносил ножницы, примеряясь, где отрезать. Стальные лезвия медленно сходились у стебля, садовник сладострастно медлил, будто наслаждаясь абсолютной властью над жизнью прекрасного цветка. Упивался – вот верное

слово. Но в последний момент, словно передумав, медленно разводил острый металл лезвий и отпускал цветок на волю. Даровал жизнь.

Леди Гамильтон – имя всплыло само собой; так назывался сорт роз, которые разводил дед. После ухода в отставку (тут дед употребил бы матерный глагол) старик зачудил: перебрался из московской квартиры на дачу, перестал бриться и отпустил библейскую бороду. Ходил босиком круглый год и помешался на розах – сейчас-то я понимаю: и розы, и дача были попыткой бегства. Классический пример эскапизма – думаю, именно такой диагноз поставил бы мой доктор Лурье из Бруклина.

Беззвучно возник сонный официант и неуверенным жестом опустил передо мной чашку кофе. Блюдце звякнуло, кофе расплескался, два куска рафинада в бумажной обертке подмокли и быстро начали темнеть.

– *Tea*, – начала я по-английски, потом перешла на русский. – Я просила чай.

Официант помедлил, после нерешительно забрал чашку. Он тоже был в исподнем, как и садовник, и в такой же забавной тюбетейке. Я не успела посмотреть на ноги, наверняка этот тоже был бос. Садовник быстро отвел глаза и помиловал очередную розу. Звякнув ножницами, переместился к следующему кусту.

От звона цикад, низкого унылого звука, ломило в висках. За дальним столом у стены скучала пара мятых немцев из

«Ви-Дабл-Ю», между ними стояла миска с тархан-сумом, куда они поочередно лазали оранжевыми от шафрана пальцами. В углу, вытянув страусиные ноги во вдовьих чулках, курила Лора Зоннтаг из IFC. Рядом испорченным унитазом журчал убогий фонтан, он напоминал пластиковую автопилку для собак. Такие я видела в Нью-Джерси – неубедительная имитация несуществующего в природе камня цвета молочного шоколада, внутри моторчик гонял одну и ту же воду, мутную и теплую. В Нью-Джерси даже собаки отказывались пить такую.

Цикады вдруг заткнулись – зуд точно отрезало, до меня дошло – это гудел генератор. Как все-таки коварно наше подсознание, в любой момент готово услужливо откорректировать реальность. Впрочем, не все поддается лакировке. Например – эта убогая веранда с хлипкими столами и шаткими стульями; трехметровая стена, выкрашенная мелом, плоское коричневое небо. Тут подсознанию в одиночку не справиться, тут нужны медикаменты, на худой конец алкоголь. Выпивку в городе продают только в Белой зоне, еще в посольствах, у гяуров можно купить *хмурь* или *хрусталь*. У абреков можно достать все, но с ними нужна предельная осторожность – тут, как говорят, гешефт может стать гешталтом.

На той неделе в Сети появилось видео, теперь вместо тесака они используют стальную проволоку, что-то вроде рояльной струны. Жертва лежит лицом вниз, палач накидывает стальную петлю на шею и быстрыми движениями рук вверх-

вниз, вроде как полируя, перепиливает шею. Казнь занимает секунд пятнадцать. Я смотрела с отключенным динамиком, но и без звука видео производило впечатление.

Потом выяснилось, что с казненным я пару раз встречалась на посольских пьянках; рыжеватый, почти альбинос, англичанин по имени Вилл Бут; помню его чудной акцент, кажется, он был откуда-то с севера, из Ливерпуля или Манчестера, что ли. Да, оттуда или из Йорка. Вилл Бут из Йорка... Пьяно тараща рачьи глаза, он безуспешно пытался заманить к себе, но я тогда проявила несвойственное мне благоразумие. Теперь ему отпилили голову стальной струной от рояля. Когда его голова была еще на плечах, Вилл работал на «Бритиш Петролеум».

Садовник, в профиль он напоминал копченую камбалу (если, конечно, у камбалы есть профиль), добрался до дальнего куста, официант вернулся с чаем – бледно-желтой водичей в прозрачном стакане, часы на стене показывали без четверти полдень. Доктор Фабер опаздывал на сорок пять минут. Да, надо было вчера выжать из него хоть что-нибудь. Но было лень, было поздно, хотелось просто выпить и не думать обо всей этой бодяге. Забыть, что ты здесь, забыть обо всем – насколько такое возможно без ущерба для собственной безопасности.

Разумеется, никакой он не доктор; я снова достала его визитку, серую картонку с подслеповатыми буквами, своим видом намекавшую на необходимость использования вто-

ричных ресурсов и безусловную важность защиты окружающей среды. *Макс Фабер, доктор, координатор фонда «Астро-Эко».* На визитке не было ни адреса, ни телефона, ни сетевых контактов. Снова загудел генератор – точно не цикады; с той стороны реки, усиленный динамиками, долетел голос муэдзина. Наступал зухр, обеденный намаз.

– Чертов город... – проворчал кто-то за спиной.

Я обернулась. Фабер обошел стол, выдвинул стул и сел.

– Извините, опоздал.

Кивнула, мол, чепуха. Сама думаю: вот ведь сволочь, на целый час.

Он протянул руку, я пожала. Сухая ладонь, крепкие пальцы; если доктор и строил эротические планы на мой счет, то лишь в качестве довеска к основной задаче. К сорока трем у меня выработалось безошибочное чутье на этот счет – да, лучше поздно, чем никогда. Знание, оплаченное болью и унижением.

При дневном свете Фабер выглядел старше – далеко за полтинник, вчера, в норвежском посольстве, я дала бы ему лет сорок восемь. Почти старик – какого черта он делает в этой дыре? Лебединая песня, деньги, последний шанс перед пенсией? Достала из сумки блокнот, раскрыла. Щелкнула ручкой. А сама-то какого черта я делаю в этой дыре?

Фабер вытащил сигареты, закурил. Поискал глазами пепельницу, стряхнул на пол.

– Что вы пьете? – кивнул на мой стакан. – Чай?

– Чай. Вчера вы говорили...

– Да. Экологическая катастрофа... Это реальность, наша сегодняшняя реальность.

Сдержанная трагичность тона, которую я должна принять за «озабоченность», безликая затертость банальных фраз. Я несколько раз нервно щелкнула ручкой. Доктор продолжил тем же тоном:

– Коричневое небо? Когда последний раз вы видели солнце? А эти фламинго?

Неделю назад над городом один за другим проплыли караваны красных фламинго. Птицы летели на запад. Одна стая остановилась переночевать на крыше «Метрополя». Сотни багровых птиц: изящные клювастые силуэты на ломких голенастых лапах на фоне темнеющего неба.

– Новые коридоры миграции, – буркнула я и, закинув ногу на ногу, стала чиркать в блокноте.

Нарисовала неплохую табуретку, к ней пририсовала себя – джинсы, высокие сапоги, лохмы в разные стороны, острый нос – весьма критично, но похоже. Доктор к тому времени уже говорил про взрыв на Бакинской АЭС, о радиационном фоне, о ртути в крови волков. Я дорисовала веревку с петлей перед своим носом. День пропал, доктор Фабер оказался пустышкой.

Вчера мне показалось, что из него можно выжать материал. Доктор был из тех людей, которые теребят твой рукав и, оглядываясь по сторонам, тащат за собой в дальний угол,

где драматичным полупшепотом вещают в ухо: «Если у вас хватит смелости написать об этом...» или «Информация, которой я обладаю, пострашнее Армагеддона...» Они говорят это так, точно до этого ты блуждала во тьме без малейшей надежды на истину. Такие типы не редкость, они встречаются постоянно. Но что-то остановило меня послать его к черту, что-то заставило тащиться на эту встречу. Что? Меня сбило с толку несоответствие формы и содержания: я много работала с экологами, с учеными – это люди, слепленные из одного материала, у них редкая группа крови, думаю, та же, что и у Дон-Кихота. Фабер явно не принадлежал к этой касте. Он напоминал металл, который прикидывается деревом, – вроде чугунной парковой скамейки, имитирующей деревянную лавку. Да, именно несоответствие формы и содержания. Ну и интуиция – как же без нее.

– Доктор, – перебила я. – Я давно перестала делать что-то из вежливости. Или потому что так принято в приличном обществе. Мне плевать на приличное общество. Точно так же, как моему редактору в Нью-Йорке, этой крашеной суке Ван-Хорн, плевать на истории про радиационный фон и ртуть в крови волков. Мы угробили планету, это не новость. Никого не интересуют взрывы ядерных реакторов и радиоактивные выбросы. Душа и мозг человека атрофированы от неупотребления, за живое его может задеть лишь демонстрация откровенной жестокости. Говорю банальности, извините уж...

Фабер курил, не перебивал.

– Люди хотят читать про смерть, про казненных заложников и изнасилованных школьниц, они хотят видеть отрезанные головы и лужи крови. Только это. И еще взорванные автобусы, куски человеческого мяса на асфальте. Там, в Цинциннати или Чикаго, мои читатели должны физически, до оргазма, ощущать, как им сказочно повезло; домохозяйка, учитель, шофер и сантехник – все обязаны боготворить существующее мироустройство, которое обеспечило им безопасность и завтрашний день. Вы думаете, люди ходят в цирк любоваться бесстрашием укротителя или ловкостью канатоходца? Нет, они тайно надеются стать свидетелями трагедии, а если страшно повезет, то и смерти, которая явится подтверждением их собственной безопасности. Надежности их бессмысленного бытия.

Доктор докурил, наклонился и вдавил большим пальцем окуроч в цемент пола. Все это время он внимательно слушал. Я сделала глоток, чай остыл до комнатной температуры.

– Наполеон, – уже спокойней продолжила я, – говорил: «Религия – единственный инструмент, который удерживает народ от того, чтобы перерезать глотки богачам». Религия обанкротилась. У богачей двадцать первого века, увы, желание делиться с народом не больше, чем у Марии-Антуанетты. Интернет взял на себя функции религии, того сдерживающего инструмента...

– Интернет, – перебил доктор негромким голосом. – Это

лишь средство доставки.

– Безусловно. Так же как и телевидение. Но лишь Интернет позволил осуществить полномасштабный контроль всего человечества. Той части человечества, которое имеет значение и играет роль; маргинал, монах в пустыне или дикарь в джунглях – эти ребята никого вообще не интересуют. Они не могут влиять ни на что. Активная часть населения, встроенная в цивилизацию и являющаяся ее планктоном, находится в Сети постоянно. Как пациент под капельницей.

– А вы врач? И от вас зависит, что влить в вену – яд или эликсир, правильно я вас понял?

– Не врач, медсестра. Которая смешивает лекарства, – добавила я. – Дайте мне сигарету.

На этот раз мне удалось продержаться девять дней. После второй затяжки голова поплыла, окружающий мир приобрел относительную приемлемость. Попытки бросить курить очевидно не делают мой характер покладистой, мне стало неловко за излишне страстную речь.

Доктор Фабер, явно американец, плотный, с большими руками и алкогольным румянцем на бритых щеках, напоминал человека, страдающего от какой-то хронической боли, которую он не очень успешно старался скрыть от окружающих. Но которая проскальзывала в жестах и интонациях.

– Ну, так даже проще. – Он провел ладонью по редкому седому ежику, словно проверяя колючесть волос. – Очень понравилась ваша метафора про нашу цивилизацию – цирк.

Да, мы сами превратили наш мир в круглосуточный цирк. Зрители жрут попкорн и с нетерпением ожидают, когда очередной гимнаст свалится с проволоки, лев сожрет следующего укротителя, а факир чокнется и взаправду перепилит девицу пополам.

От его речевых штампов меня бесило. Под конец он добавил:

– Немного, чисто по-человечески, разочарован вашим цинизмом и абсолютным безразличием к судьбе красных фламинго...

– Почему же? Даже сделала репортаж. Вы видели их на крыше «Метрополя»?

– «Метрополя»... – Доктор покрутил обручальное кольцо на мясистом мизинце, очевидно, оно перекочевало туда с другого пальца, но и на мизинце кольцу явно было тесно. – Да, птиц мне тоже жаль. Вы правы и насчет информации, именно информация уничтожила коммунизм в прошлом веке. Нам тогда казалось, что если рассказать правду всем, то проблемы исчезнут сами собой. Народ свергнет тиранов, кончатся войны...

– Кому – нам? Экологам? Фонду «Астро-Эко»?

Щелкнула ногтем по картонке визитки. Иронии особо не скрывала.

– В интервью с Шейхом Мансуром... – Он сделал паузу, посмотрел мне в глаза.

Ага – отлично! Я сделала стойку – подбираемся к сути.

Значит, не ошиблась.

– ...Вы его спрашиваете о возможной причастности «Железной гвардии» к мытищинским событиям и взрыву на рублевском водозаборнике.

– И?

– Откуда у вас эти сведения?

– Какое вам дело? Экологам?

– Послушайте, я думал...

– Мне плевать на ваши думы, доктор. Вы вытащили меня в эту вонючую харчевню, обещая какую-то информацию; оказывается, никакой информации у вас нет и даже более того, вам что-то нужно от меня. И при этом вы продолжаете мне морочить голову.

– Хорошо, я...

– Именно хорошо! Но не вы, а я! И вот что я вам скажу: или вы прямо сейчас перестанете валять дурака и выложите все как есть... или я немедленно уйду.

– Вы чай не допили.

Я подняла стакан и вылила желтую жидкость на пол. Доктор поморщился и негромко сказал:

– Нас интересует ваш источник у гяуров. Возможность выхода через него на Питер, на руководство «Молотов-центра». На «Кулак Сатаны»...

– Вы из Бюро? – перебила я.

Вопрос явно был риторический, Фабер кивнул.

– Выход на сектор Мирзоева, – тихо сказал. – На людей

Сильвестрова в Питере. Но главное – «Кулак Сатаны». Это... это главное.

Он облизнул нижнюю губу, замолчал; я посмотрела ему в глаза.

– И что должно меня сподвигнуть на это? – насмешливо спросила я. – Журналист не сдает свои источники. Тут дело не в профессиональной чести или еще каких-то глупостях, вопрос сугубо практический – единожды предав, кто тебе поверит. Журналист без источников мертв. Вам это должно быть очень хорошо понятно... особенно как профессиональному шпиону.

– Я и не рассчитывал на ваш... – доктор скривил рот, – энтузиазм патриотического разлива.

– Отлично! Остаются всего два варианта – шантаж и подкуп.

– Ну почему? – Он попытался усмехнуться, получилась болезненная гримаса. – Есть и третий вариант...

Узнать подробнее о третьем варианте мне не удалось.

Снаружи, совсем рядом, протрещала автоматная очередь, совершенно машинально я отметила, что стреляли из «калашникова»; доктор что-то гаркнул мне, сшибая стулья, он кинулся к стене – злой и красномордый, в руке – полевой «лекс»; я рванулась к выходу, краем глаза заметила, как Лора Зоннтаг упала, запутавшись в розовых кустах. Ее падение было плавным, тягуче красивым, точно в замедленном кино. Лора ломала и увлекала кусты за собой, лепестки разле-

тались в стороны, как красные брызги. Розы, сочные, пунцовые розы, размером с кулак, были последним, что я увидела.

Небо, серо-коричневое – унылый индустриальный цвет, таким красят стены в глухих конторах, где по пятницам уволенные сотрудники совершают ритуальные самоубийства, вскрывая себе вены в тесных туалетных кабинках. Небо – плоское и безнадежно низкое. Я попыталась сесть. Ноги были на месте, я подняла к глазам ладони – руки тоже.

Не было звука.

Тишина – абсолютная тишина. Собака, одна из тех бродячих дворняг, драная, в клочьях пегой шерсти, стояла передо мной и беззвучно лаяла. Ее левый глаз вытек и был затянут лиловым пузырем. Собака гавкала мне прямо в лицо. Жалкая и омерзительная одновременно.

В стене зияла дыра. Почти идеальный круг метра два в диаметре с обрывками ржавой арматуры. Мне была видна часть пустой улицы, между домов маячил сизый контур Блаженного. Ле Корбюзье как-то назвал собор бредом безумного кондитера. Ироничный галл, трубадур прямых углов, еще он считал ракушку воплощением красоты: ни одна из божественных идей, говорил он, не воплощалась с таким изяществом и гармонией. Ракушка – это спираль, которая раскручивается изнутри наружу. Удивительная дичь иногда всплывает в моей сломанной башке!

Снег? Все вокруг было белым, нежным; во мне шевельнулся отзвук забытого детского умиления первым снегом,

утренним, девственным, так неожиданно и просто решавшим проблему уродства заоконного пейзажа. Где это было? Когда? Рядом на полу лежала рука, мясистая ладонь, растопыренные короткие пальцы. На мизинце я заметила обручальное кольцо.

Слух начал возвращаться постепенно, точно кто-то не спеша прибавлял громкость. Появился собачий лай, сиплый и монотонный. К нему добавился протяжный звук, на одной высокой ноте, противный, вроде сигнала занудной сирены. Но звук был явно живой. Я повернула голову. Там, у стены, среди алюминиевой путаницы смятых столов и стульев, среди вырванных и растерзанных розовых кустов, присыпанная снежной пудрой, лежала Лора Зоннтаг. Она лежала и выла на одной невыносимо протяжной ноте, а из ее левой груди узким серпом, точно ранний месяц, торчал полуметровый осколок стекла.

Слабой рукой Лора указывала мне на дыру в стене. С той стороны в нее пробирались люди. Абреки. Первый, длинный бородач, похожий на сухой стручок, неуклюже перешагивая через обломки, остановился у Лоры и, подняв тупорылый десантный «калашников», выстрелил ей в голову. Другой, коротконогий, в лиловом спортивном костюме, направился ко мне. На рукаве его куртки пестрела эмблема какого-то футбольного клуба. Опершись на локоть и не отрывая взгляда от вороненого ствола его автомата, я попыталась встать. Момент, прикинуться мертвой, явно был упущен.

Мой дед оказался прав – страха я не ощутила.

Этот финальный момент рисовался в моем воображении во всех возможных вариациях: от мясорубки уличного взрыва – смерти анонимной, грязной и обидной, до остро персональной процедуры «усекновения главы» (как данное действие называлось в древних рукописях, включая Библию), с посмертной славой в тысячу *кликов* на канале *YouTube*. Пуля в лоб из «калашниковова» десантной модификации выглядела вполне банальной и весьма вероятной. Уже почти неизбежной.

Каждый лишний день пребывания в «зоне повышенного риска» – эвфемизм нашей нью-йоркской штаб-квартиры – простым арифметическим действием сжимал твои шансы на возвращение домой живым. Моим преимуществом было отсутствие дома как гипотетической точки возвращения. Меня никто не ждал. Никто не ждал тут, никто не ждал и на том полушарии. Абсолютное, тотальное одиночество, свирепая тоска прокуренных навывлет ночей, липких стаканов и душных простыней, – совершенно неожиданно, при внимательном взгляде в черноту дула автомата, показалось мне почти удачей. Один точный выстрел. Чистосердечная наивность столь простого решения выглядела убедительной и логичной.

Коротышка поднял автомат. Мне удалось разглядеть эмблему на рукаве – «Барселона», конечно же «Барселона»; ненужное знание успокоило, точно имело какое-то значение.

Органы чувств, будто прощаясь, напоследок решили продемонстрировать свои превосходные качества: мой взгляд одновременно выхватил палец на спусковом крючке, глубокий шрам над правой бровью – короткий и аккуратный, как удар резцом, бездомную собаку за спиной убийцы, мозаику на стене и кусок скучного пейзажа.

Слух предоставил затейливый саундтрек: на фоне упругого ритма крови в висках, низкого, как басовый барабан, раскрывалась целая симфония звуков – рык моторов, автоматные очереди и крики за стеной, вой полицейских сирен и рыдания неизвестного младенца.

К сухому запаху мела и пыли примешивался жирный дух ружейной смазки, кислая вонь горелого пороха, горечь чадящих тряпок; а откуда-то, наверное с кухни, вдруг пахло свежесдобными лепешками.

Точно ныряльщик, пытаясь вобрать в себя все сразу одним могучим вдохом, я выпрямилась и посмотрела в глаза абреку.

– Нога ходить? – спросил он по-русски.

Ткнул мне в грудь стволом автомата, потом крикнул что-то напарнику. Длинный ответил. Абреки говорили на пушту. Афганцы или паки.

– Пошел! – Коротышка подтолкнул меня к дыре в стене.

Я кое-как встала. Смерть откладывалась на неопределенное время.

Но если уж начистоту, то я должна была погибнуть при-

мерно полвека назад.

Тогда меня спас дед, и, может быть, оттого я до сих пор ощущаю какую-то особенную связь с ним, с отцом моей матери. На интуитивном уровне или мистическом, не знаю, это мое второе рождение стало гораздо значительней рождения физического. Вялое присутствие на периферии моего сознания матери, фигуры расплывчатой и невнятной, текущей сквозь меня ручьем бесконечного горя и вины, лишь оттеняло монументальную мощь дедовского величия.

Чудо моего второго рождения случилось на даче в конце апреля. Двадцать седьмого, если точность имеет значение. Стоял ветреный полдень, деревья пьяно разгоняли синеву руками, белая пурга облетевшего яблоневого цвета мешалась с розовой метелью цветущей вишни. Моя коляска была пришвартована у нижней ступеньки крыльца. Хамски хлопали ставни, поскрипывала старая сосна у колодца, где-то на крыше гремел жестью кровельный лист. Дед возился в сарае, гремел молотком, что-то мастерил.

Как он мне потом рассказывал, необъяснимый импульс заставил его отложить все и направиться прямо к коляске. Дед, не отличавшийся чадолюбием, неожиданно для себя самого взял меня на руки и поднялся на крыльцо. Буквально в этот момент старая сосна у колодца крякнула, затрещала и со всего маху рухнула на землю. Одна из ветвистых лап расшибла коляску вдребезги. Согласно фамильной легенде, я даже не проснулась.

Их было всего трое. Плюс джип.

Коротышка (тот самый болельщик «Барселоны») запрыгнул за руль, длинный (который «стручок») сложился пополам, влез рядом. Они поленились связывать мне руки, втиснули в багажное отделение джипа и захлопнули дверь. На заднее сиденье забрался раненый пак, он зажимал ухо тряпкой, коричневой от крови. Кровь текла по шее под воротник и расплывалась мокрым пятном по спине. Пак оглянулся, вперил в меня дикие глаза. Ничего не сказав, отвернулся. Где-то выла сирена, но нас никто не преследовал; коротышка дал газ, лихо развернулся, сбив несколько мусорных баков у входа в харчевню.

Я увидела закопченную стену, посередине – круглую пробоину: судя по всему, абреки подогнали машину со взрывчаткой к самой стене. Стандартный ход. Искореженный кузов моей машины валялся на другой стороне улицы. Обломки и мусор дымились, от горячей шины лениво и тяжело поднимался жирный столб смоляного чада. Прислонясь к стене, точно пьяный, сидел Умар, мой водитель. Его горло было перерезано от уха до уха. Рядом, выставив голые пятки, лежал труп садовника.

Манеж. Выбрались с Манежа. Длинный что-то буркнул, шофер послушно свернул направо и погнал вверх по брус-

чатке. Выехали на площадь, слева чернел сожженный остов ГУМа. Коротышке приходилось лавировать между бетонных блоков, которые остались со времен штурма. На месте мавзолея темнела воронка, наполненная коричневой водой. Там, под мавзолеем, начинался подземный ход, ведущий в Китай-город. Говорили, что Сильвестров сам взорвал ход, когда бежал из Кремля.

У коричневой лужи кружила стая бродячих псов. Длинный абрек выставил ствол автомата в окно и дал очередь, одна собака взвыла, закрутилась на месте, точно пытаясь поймать свой хвост. Стая отпрянула, замерла и вдруг разом набросилась на раненого пса.

На месте Спасской башни зиял провал, заваленный горой битого кирпича, за ним гигантской закопченной свечой высился обрубок взорванной колокольни Ивана Великого. Джип трясло на брусчатке, шофер, не сбавляя скорости, кидал машину из стороны в сторону. Я сползла на пол и с силой уперлась подошвами в борт, но меня все равно болтало. Воняло бензином и мужичьим потом. Раненый пак убрал тряпку, вместо уха в голове чернела кровавая дыра с блестящими, как от лака, краями.

Мы выскочили на Ордынский мост. Справа, вздыбившись, точно пытаясь подмять фонарный столб, застыл мертвый танк. Трафарет волчьей головы белел на броне. Дивизия «Терновые волки». Другой танк, без башни, протаранив гранит парапета, свешивался над рекой. Башня танка, с изо-

гнутой в дугу пушкой, валялась метрах в тридцати. Сильвестров расстреливал колонну «Терновых» прямой наводкой, орудие било с кремлевской стены. Третий танк, черный от копоти, перегораживал спуск к «Балчугу».

Гостинице тоже досталось, в здание угодила авиабомба, и фасад отеля был срезан точно бритвой. Из стен торчала гнутая арматура, стальные балки, похожие на рельсы; из бесстыже оголенных комнат выглядывала неопрятная мебель – кресла, стулья, кровати, на ленивом ветру линялыми флагами шевелились выцветшие шторы. Жерар говорил, что три года назад, еще до моего приезда, там в пентхаусе был шикарный «Пиано-бар» с приличным джазом и лучшими драй-мартини в городе. Мне не повезло, я этого уже не застала. Жерар, сибарит и бабник, поклонник Майлса Дэвиса и вычурных коктейлей, был единственным человеком, которому я доверяла; прошлым сентябрем его сожгли заживо в машине, когда он ехал на встречу с людьми Зелимхана Караева.

«Каждому человеку Бог отмеряет удачу, – говорил мне Жерар за день до смерти. – Кому больше, кому меньше. Но будь ты самый везучий сукин сын на свете, твоя удача все равно имеет конец. И в один прекрасный день тебе придется поставить на кон свой последний пятак. Уезжай! Не завтра – прямо сейчас».

Жерар Дюпре был настоящим французом, более того – парижанином, изысканным в чувственных наслаждениях и пылко выпреним в высказываниях. Он говорил так, будто

диктовал торжественную речь, точно некий невидимый секретарь с белыми крылами за спиной записывал каждое слово в какие-то бессмертные свитки мироздания. Пошлость слов отчасти скрашивал милый картавый выговор и неправильные ударения.

Я бы уехала, но возвращаться в прошлое значило снова пройти через такую толщу боли, что от одной мысли меня скручивало, как от удара в солнечное сплетение. Прошлое исключалось. Будущее, любое будущее, не связанное с прошлым, рисовалось отвлеченными картинками, аморфными и зыбкими, точно я разглядывала их со дна бассейна: что-то вроде фотографий из мебельного каталога, где стерильные интерьеры оживлялись идеально безликой семьей – белоzubый красавец, седеющий и загорелый, пара улыбчивых детей в белых гольфах и с ямочками на щеках, разумеется собака. Разумеется, золотистый ретривер. Ваниль и розы, вкрадчивый уют аристократических драпировок, не имеющий ко мне ни малейшего касательства.

Почему я не уехала? Думаю, страх и надежда. Не страх смерти – этот страх (и дед мой тут прав на все сто) – чепуха. Страх перед будущим и надежда, что все будет хорошо. Когда? Когда-то, в будущем, – завтра, через неделю, потом. Именно это «потом», этот зазор между минувшим и грядущим давал мне силы забыть (о, эта вышколенная забывчивость!) о семизарядном «сфинксе», дремлющем на дне комода под трусами и лифчиками. О самом радикальном сред-

стве девятого калибра, способном на эффективную и бесповоротную анестезию.

Раненый пак тихо стонал, длинный абрек дремал, покачивая головой в такт ухабам, словно соглашаясь с кем-то. Шофер зло шипел, изредка ругаясь на пушту. Справа, высясь на Стрелке, проплыл долговязый бронзовый Петр, наверное самый уродливый памятник на планете; за ним показалась Стена, бетонный забор шестиметровой высоты, окружающий Белую зону. Над Зоной выписывал плавные восьмерки патрульный беспилотник. По периметру Стены, через каждые сто метров, торчали пулеметные вышки, похожие на бетонные шахматные ладьи с узкими прорезями бойниц. Стена подступала к самой реке и тянулась до того места, где когда-то стоял Крымский мост. Ржавое железо разбомбленного моста торчало из серой воды, как хребет доисторического мастодонта. Тут Стена поворачивала и шла вдоль Садового кольца по Крымскому Валу до самого пересечения с Якиманкой.

Там, вдали, тусклым перламутром блеснули бронированные окна «Президент-отеля». Там, на шестом этаже, с видом на грязную воду Москвы-реки и руины храма Христа Спасителя, между штаб-квартирой «Фокс ньюс» и корпунктом «Дейли мейл», располагался наш офис.

Шестой этаж почти целиком занимала пресса. Выше, на седьмом и восьмом, гнездились дипломаты из ООН. Посольства и консульства расквартировались в бывшем Доме ху-

дожника, в залах Новой Третьяковки. В кабинете американского консула висел «Демон» Врубеля и несколько карандашных портретов Серова, вовремя перевезенные из Климентовского. Англичане предпочитали строгий соцреализм Дейнеки, французы – аскетичный эротизм Гончаровой. Вся коллекция Старой Третьяковки погибла во время «Миндальной ночи»: гвардейцы Кантемирова кромсали холсты штыками, обливали картины бензином, жгли. Когда горело ивановское «Явление Христа народу» (видео появилось в Сети на следующее утро), фигура Иисуса неожиданно исчезла с полотна. Очевидно, произошла какая-то химическая реакция, что, однако, не помешало распространению и мистической интерпретации. Причем как восторженно позитивной: «Бог спасся, чтобы вернуться и отомстить», так и по-русски беспросветной: «Это конец, Христос оставил Россию».

С Якиманки пришлось свернуть. Сожженный троллейбус перегораживал почти всю мостовую, оставляя лишь узкий проход по тротуару. За троллейбусом виднелась гора битого кирпича с резиновыми крышками на гребне. За ними кто-то прятался. Все это было похоже на нехитрую западню. Долговязый абрек моментально проснулся, открыв окно, он выпустил короткую очередь в сторону троллейбуса. В ответ тут же раздались торопливые pistolетные выстрелы.

– Гяуры! – гаркнул длинный, поливая баррикаду из «калашникова»; шофер врубил передачу и, хищно оглядываясь,

дал задний ход.

Никогда в жизни я не ездила задом с такой скоростью. Двигатель надсадно рычал; неожиданно водитель рванул ручной тормоз, и джип, визжа резиной, развернулся на месте на сто восемьдесят градусов. Изящно, как в танце. До этого я была уверена, что такое возможно лишь в кино.

Гяурами, для простоты, именовались все неисламские боевики, банды которых промышляли в Москве и окрестностях. Банды соперничали между собой, делили территорию, но были объединены общей враждой к Эмирату и абрекам – шайкам мусульман-экстремистов, связанных со Всемирным Халифатом и «Аль-Исламийя».

В апреле мне удалось сделать репортаж о «Таганском отряде», взять интервью у легендарного полковника Зуева. Он действительно оказался полковником МВД и при Сильвестрове служил начальником 37-го отделения милиции. Ударная команда его отряда, сформированная из бывших ментов и военных, базировалась в Новоспасском монастыре, где после «Миндальной ночи» прятались уцелевшие горожане из окрестных домов.

Зуев был зол и радушен. Разрешил фотографировать все, кроме военной техники. Предложил польского кокаина, я благоразумно отказалась. На монастырских стенах стояли крупнокалиберные «гатлинги» с вращающимися блоками стволов, ворота охранял тяжелый «Т-15», на башне танка, разморенный полуденным солнцем, дремал рыжий жирный

кот. По монастырскому двору между зенитными установками гуляли куры. Полковник весело матерился, потирал короткую шею крепкой, как лопата, ладонью. Хвастался и врал. Возмущался нейтралитетом Америки.

– Ты думаешь, отсидитесь? Думаешь, авось пронесет? Во! – Полковник ткнул в объектив камеры здоровенный кукиш. – Поняла? И вас накроет как миленьких!

Он постоянно вываливался из кадра, румяный и азартный. Я плавно подалась назад, не прерывая съемки.

– Ты там растолкуй своим, что мы и за них тут кровь льем! Чтоб они могли спокойно жрать бургеры в своем Техасе. – Полковник выругался и зло сплюнул под ноги. – Хер с вами, не хотите войска вводить, так хоть оружием помогите! Заодно свой военно-промышленный комплекс поддержите. Этот, как его... Как там этого вашего сенатора?..

– Лоренц.

– Во! Лоренц! Неужели этот чертов Лоренц не может продавить ваш Конгресс...

– Сенат...

– Да какая на хер разница – сенат, конгресс?! Оружие дайте, мать вашу! Оружие!

Неожиданно полковник задрал голову, точь-в-точь как охотничий пес. В апрельском небе, высоко-высоко над монастырем, кружил беспилотник. Дрон, похожий на слюдяную стрекозу, бесшумно плыл по кобальту весеннего неба. Камера высокого разрешения, установленная на самолете, пере-

давала изображение напрямую в Координационный центр. Какой-то оператор в Виргинии сейчас разглядывал нас с полковником, видел, что на голове у меня полный бардак и мешки под глазами, – увеличение позволяло без труда рассмотреть монету на ладони.

– Видишь? Ну не суки ли? – Полковник вдруг выхватил из кобуры «глок» и высадил всю обойму в небо. – Оружие давай!

Золотистые гильзы покатались по утрамбованной глине двора, где-то забрехала собака. Полковник передернул затвор.

– Ты это вырежи. – Он сунул пистолет в кобуру. – И про оружие им объясни, пиндосам. Без оружия нам хана. А после и вам. Ты ж сечешь фишку, Катюха, ты ж наша...

– В смысле? – не поняла я.

– Ну, в смысле русская... – Полковник неожиданно смутился. – Ничего, что я тебя Катюхой зову?

3

Катей меня назвали в честь бабушки. На картонке старой фотографии с золотым тиснением «Фотоателье А. Шапиро» бабушке пять лет, там есть и дата – 1907 год. Ровно десять лет до катастрофы, которую потом назовут великой революцией и самым важным событием двадцатого века.

Мутная сепия, янтарные блики, кажется, снимок сделан

сквозь толщу речной воды. У бабушки веселые глаза, чуть хитрая улыбка, точно она замышляет какую-то проказу. Ровный пробор в русых волосах, тугая коса с бантом. На ней матроска с белой юбкой и белыми гольфами, в руках какой-то обруч, похожий на хулахуп.

«Нет, не хулахуп, – смеется бабушка. – Игра называлась «погонялка», обруч катили по дороге, подгоняя палкой с загнутым концом. Кто дальше всех прокатит, тот и выиграл».

Мы с ней сидим на солнечной веранде на даче в Снегирях, разбираем старые фотографии. Конец июня, лето не кончится никогда. Жизнь не кончится никогда. Теплые лучи, покой и радость наполняют мое тело чем-то материальным, почти осязаемым. Наверное, счастьем. Тот июнь стал самым счастливым месяцем моей жизни, а бабушке оставалось жить всего полгода.

Она родилась в Питере в семье учителя, он преподавал латынь в гимназии. Жили они на Гончарной в пятикомнатной квартире, жили ни бедно, ни богато, все соседи жили так. Сосед сверху – мужской портной, снизу – адвокат.

Когда началась война, у портного заказов прибавилось, он начал шить мундиры и шинели; молодые мужчины, цоккая подкованными каблуками, бодро шагали на пятый этаж. Курили на лестничной площадке, громко шутили. Их смех гулким эхом разносился по парадному. Бабушка (ей только исполнилось двенадцать) в щелку двери подглядывала за красивыми новобранцами. Война казалась совсем нестраш-

ной, даже, наоборот, чем-то озорным и увлекательным, вроде поездки на море или в Парголово. Добровольцем записался отец, после – и сосед-адвокат.

Бабушка тогда училась в гимназии. У многих девочек в классе отцы ушли на фронт. Жизнь быстро потемнела, стало серо и скучно, точно солнце закатилось за трубу. Начали поступать похоронки, страшные желтоватые конверты: каллиграфия полковых писарей была идеальной, будто пером водила сама смерть. Некоторым присылали письма с туманно зловещей фразой «Пропал без вести». Такое же письмо получила и бабушкина семья. Мама молилась и плакала, а бабушка не могла понять, как это человек может пропасть без вести. Это же живой человек, а не носовой платок или перчатка.

Тем октябрьским днем бабушка Катя сидела у своей подруги Люси Красовской на Невском, они часто готовили уроки вдвоем. Отец Люси тоже ушел на фронт, но он пока еще был жив и не считался пропавшим без вести. Вернулась с работы Люсина мама, из-за нехватки денег она устроилась в Гостиный Двор и теперь каждый вечер приходила не раньше семи. Пили чай с абрикосовым вареньем, бабушкиным любимым, с белыми косточками, похожими на горьковатый миндаль. Болтали, шутили, вспоминали – война шла уже третий год, и довоенные истории казались неправдой. Засиделись допоздна, когда бабушка опомнилась, был уже десятый час, за окном стемнело и зажглись фонари. Люсина ма-

ма хотела проводить, но бабушка Катя отказалась: «До дома всего три квартала, добегу», – сказала она, надевая пальто.

Выйдя на Невский, Катя услышала странный гул, похожий на шум моря, откуда-то донеслись крики. Потом начали стрелять. Шум усилился. Со стороны Полтавской улицы на проспект выползла толпа; впереди бежал какой-то человек в длинном пальто. Его догнали, повалили. Стали пинать. Он кричал, а двое продолжали бить его ногами. Потом толпа подмяла его, покатила дальше.

Как в дурном сне, когда ноги превращаются в студень и перестают слушаться, Катя бессильно прижалась к стене. Толпа ползла, толпа приближалась. Растекаясь густой массой во всю ширину проспекта, она состояла по большей части из мужчин, одетых бедно, как одеваются люди на рабочих окраинах.

Раздался звон, весело посыпалось стекло, кто-то разбил витрину в кондитерской Наумова; толпа восторженно взвыла, несколько человек полезли в магазин. До войны Катин отец покупал в этой кондитерской эклеры с шоколадной глазурью и ванильным заварным кремом внутри. Полдюжины. Шесть восхитительных эклеров. Приносил домой коробку, перевязанную красной лентой.

Грохнул выстрел, другой, третий – точно ломали сухие палки. Катя очнулась, бросилась бежать. Свернула в первый переулок, увидела вывеску «Трактир и постоялый двор». Хозяин, узнав, что Кате всего четырнадцать, хотел прогнать ее –

нагрянет полиция, оправдывайся потом. «Да нет там никакой полиции! – зарыдала она. – Там толпа, они грабят магазины и убивают людей!»

Внизу, в душном подвале, на деревянных нарах копошился какой-то люд – бродяги, проститутки, нищие. Они ругались, орали, пили и хохотали; бородач, похожий на лешего, азартно брэнчал на балалайке. Подвал освещали две мутные керосиновые лампы. Рыжее пламя прыгало, по сводам низкого потолка бродили тени жутких чудовищ. Хозяин сунул Кате одеяло, указал на койку в углу. Не снимая шубы, она легла, накрылась с головой. Но даже сквозь войлок одеяла до нее долетал мат, крики и хохот соседей.

Моей бабушке и в голову не могло прийти, что теперь эти люди, страшные и дикие, о существовании которых она лишь смутно подозревала, изредка видела на улице, которых ее отец презрительно называл немецким словом «люмпен», а мама «мазуриками», что теперь эти люди – рвань, ворье и попрошайки, быдло и гопота – не только накрепко войдут в ее жизнь – они станут ее жизнью и ее судьбой. И что за одного из них через пять лет она выйдет замуж. Да, я имею в виду моего деда Платона Каширского.

На улице, совсем рядом, грохнул взрыв.

«Винные склады грабят! – заорал кто-то. – Братва! Айда, пока гопота все не растащила!» Ночлежники заголосили, топая и матерясь, побежали вверх. Катя высунулась из-под одеяла; подвал был пуст. Гремя сапогами, по лестнице сбе-

жал хозяин. Он сжимал топор, ворот его рубахи был вырван с мясом, из-под волос на лоб, оставляя тонкий след, стекала красная капля. Топор трясся. Катя никогда не видела, чтоб у человека так дрожали руки.

– Полиция? – Она спрыгнула с нар.

– Какая полиция! – задыхаясь, выговорил хозяин. – Душу продам, чтоб она появилась... Полиция... Погром там! Погром!

– Какой погром?

– Революция!

– Опять? Как в феврале?

– Не знаю! Озверел народ-то вконец. Лютуют... Ховаться тебе надо, вот что.

Хозяин схватил Катю за руку, потащил в угол. Открыл кладовку, там кучей были свалены матрасы и одеяла. Катя забралась под тряпье. Слышала, как захлопнулась дверь, клацнул засов, повернулся ключ в замке.

Потом ночлежники начали возвращаться, они топали, что-то таскали, гремели бутылками. Кричали и ругались. Кто-то сипло заорал:

– Где девка? Куда девку спрятал? А ну тащи сюда эту разтетеню гладкую!

Катя впилась зубами в руку, чтоб не закричать от страха.

– Ушла девка! – услышала она голос хозяина. – Полчаса как драпанула.

– Ведь найдем! Тебя, мерин, выпотрошим! На ножи по-

ставим!

– Хорош сняголовить, тартыга! – Снова хозяин. – На улице она!

– Дай ему в бубен, Лузга, – взвизгнул кто-то. – Че бакланить!

Началась драка. Послышались крики и топот. Удары, точно колотили в кожаный мяч. Хозяин рычал и ругался, потом все стихло. Подошли к кладовке, начали сбивать замок чем-то железным, наверное хозяйским топором. Дверь крякнула, подалась. Катя зажмурилась, застыла под кучей тряпья.

– Нету! – крикнул кто-то. – Рухлядь всякая.

– Зазря фофана порешили, – заржал другой. – Взаправду утекла титешница.

Утром Катя выбралась из чулана. На полу лежал убитый хозяин, вместо лица у него было кровавое месиво, над которым кружили большие мухи. В углу кто-то храпел. С улицы доносился рев толпы и выстрелы. Где-то громким хором пели песню. Катя нашла кувшин с водой и кусок черствого хлеба и снова забилась под тряпье.

Погром продолжался четыре дня и четыре ночи. На пятый день начал стихать, смолкли крики и песни, прекратилась стрельба. Катя вылезла из кладовки и тут же наткнулась на пьяную проститутку. Она сидела по-турецки на нарах и пила шампанское прямо из бутылки. Грязная, без двух передних зубов, она заставила девочку пить с ней, потом потребовала каракулеву шубу и берет из шотландки. Взамен сунула

дранный платок и тощий салоп на вате. Этот штопаный салоп спас жизнь моей бабке.

Когда она выбралась из ночлежки и вышла на Невский, погром еще продолжался. Сновали бородатые солдаты с красными бантами, проститутки, пролетарского вида мужики. На мостовой и тротуарах валялись трупы хорошо одетых людей. Их карманы были вывернуты, тут же лежали пустые бумажники, оборванные цепочки от часов. Под ногами хрустело стекло, темнели коричневые лужи засохшей крови. Дома чернели выбитыми окнами и витринами, в галантерейном магазине Солодовникова полыхал пожар, языки рыжего пламени рвались из всех шести окон и лезли под крышу. В воздухе стоял трупный смрад и запах гари. Укутав лицо платком, по-старушечьи сгорбившись и прижимаясь к стене, Катя пошла в сторону Гончарной. На нее никто не обращал внимания.

Она добралась до своего дома. Ей показалось, что пошел снег, она подставила ладонь – нет, то был пух из вспоротых перин и подушек. На мостовой, перед подъездом, лежал мертвец, она узнала дворника Насима. Двери парадного, распахнутые настежь. Катя вошла в вестибюль: мраморная лестница в осколках стекла, разбитые зеркала и вещи, вещи, вещи. Пальто и шубы, платья, шарфы и шали, смятые шляпы, домашняя утварь, игрушки – все это, мятое, грязное, валялось повсюду, словно мусор. Пошла вверх по лестнице, останавливаясь на каждой лестничной клетке; двери

всех квартир были выбиты, одни болтались на одной петле, другие лежали тут же на полу. На трех этажах не осталось ни одной целой двери.

Их дверь тоже была выбита. Первое, что Катя увидела, был труп матери. Мама лежала в прихожей, уткнувшись в лужу засохшей крови. По паркету коридора, среди бумаг и скомканной одежды, белел рассыпанный жемчуг, Катя так любила играть этим ожерельем. Из распахнутой кладовки торчали босые ноги: няню Варвару погромщики зарезали прямо там, в кладовке. Пятилетнего братика (он пытался спрятаться в детской) вытащили из-под кровати и тоже убили. Кололи штыками. Кровь была везде – на стенах, на шторах. Кровью был забрызган даже потолок.

В квартире не осталось ни одного целого стекла, занавески рваными флагами вырывались на улицу. Ящики комодов валялись на полу, шкафы и буфеты были распахнуты настежь, содержимое вывалено на пол. Казалось, не осталось ни одной целой вещи, каждый предмет был разбит, раздавлен, изуродован.

Катя блуждала по квартире, ее память непроизвольно вбирала в себя страшные подробности: кровавые следы огромных сапог по коврам, распоротые кресла с торчащей ватой, изрезанные штыками картины и фотографии – на отцовском портрете выкололи глаза и кто-то припечатал его лицо своей кровавой пятерней.

Катя вошла в кабинет отца. Среди разбросанных по полу

книг, бумаг и документов – убийцы, очевидно, искали деньги и облигации – Катя увидела фото. Подняла – то была ее фотография десятилетней давности: улыбочивая девочка в белой матроске с обручем-погонялкой в руке.

4

Да, погром продолжался четыре дня и четыре ночи. С двадцать пятого до двадцать девятого октября. По городу рыскали пьяные от крови погромщики, красногвардейцы с флагами «Смерть буржуям!», матросы, перепоясанные пулеметными лентами. Весь центр Питера был разграблен – магазины, квартиры, склады, конторы. На мостовых и тротуарах лежали убитые, много убитых. Бродячие собаки ели их. Крысы, осмелевшие полчища крыс, выбрались из подвалов и канализации. Над городом повис трупный смрад.

Красногвардейцы, до этого сами участвовавшие в грабежах, начали сгонять погромщиков в похоронные команды. Недовольных расстреливали на месте. Впрочем, до похорон дело не дошло, трупы грузили на телеги, везли к Неве и там сбрасывали в реку. Трупов было так много, что они плыли вниз по течению несколько недель.

Так Петроград стал городом мертвых. Городом без горожан. Во дворе штаба ЧК на Гороховой жгли документы убитых питерцев. Жертвы погрома – мужчины, женщины, дети, семьи, дома и целые кварталы – таяли вместе с черным ды-

мом в низком северном небе, таяла и исчезала память о них, будто люди эти никогда и не жили на белом свете.

Для моей бабушки праздник Октябрьской революции навсегда стал днем траура. Днем скорби по погибшим петроградцам, днем скорби по своей семье. Большевики, пытаясь переписать историю, переименовали город в Ленинград, стерли имена убитых горожан. Свидетели и участники великого русского погрома держали язык за зубами, за неосторожное слово о петроградской резне можно было поплатиться свободой. Уголовные статьи, целых четыре, входили в раздел «Контрреволюционная деятельность». Седьмое ноября, страшный день кровавого русского погрома, стал главным праздником коммунистической России.

Если уж начистоту, то праздник этот с самого раннего детства пугал меня.

Утро, ноябрьское серое утро. На жести подоконника искрится седой иней, а в спальне тепло, душно. Батареи включили не так давно, и теперь кочегары топят, как во спасение души. Утренний сон сладок, под утро снятся розовые небеса, я беспечно парю среди облаков, легко и невинно. Я еще сплю, а в мой невинный младенческий сон уже вползает темный звук – бух... бух... бух, глухой пульс огромного сердца. Сердце, величиной в дом, бьется в груди чудовищного дракона. Бух... бух... бух. Пульс растет, дракон приближается. Чудовище всегда появляется с юга, со стороны Павелецкого вокзала. Острые крылья, клыки, отливающая медью че-

шуя. Из-за Краснохолмского моста он выползает огромный, как гора, страшный, как грозовая туча. Я уже слышу сиплый шелест крыльев, утробный хрип, перезвон чешуи. Вот дракон перевалил через мост, спасенья нет, я вижу его сияющие, точно рубины, глаза и в ужасе просыпаюсь.

Дракон растаял вместе с кошмаром, но что это? – бух... бух... бух – грохот его сердца не исчез, сердце бьется громче, чем во сне.

Наш дом стоит прямо на набережной. С балкона восьмого этажа когда-то была видна даже Спасская башня, пока не построили дурацкую гостиницу, которая своим белым боком загородила нам весь вид. Меня тащат в ванную, после наряжают, бабушка вплетает мне в косы черные ленты, мастерит пышные банты. На ней тоже черное платье и никаких украшений. Только губы подкрашены красной, как кровь, помадой.

В большой комнате, ее у нас называют то гостиной, то столовой, круглый стол раздвинут, накрыт белой скатертью с острыми крахмальными складками. Мама расставляет тарелки, звенят вилки и ножи, колокольцами поют хрустальные бокалы и рюмки. Из кухни плывут блюда с копченой колбасой и ветчиной, пузатые салатницы с нагло багровым винегретом и равнодушно бледным оливье, розоватые ломтики севрюжьего балыка и ярко-коралловой семги, стеклянные плоски с икрой – осетровой и кетовой, заливная рыба в железной миске и, разумеется, холодец. Он всю ночь мерз на

балконе и сейчас похож на застывший кусок янтарной реки с оранжевыми морковными рыбками внутри. Меж блюд втискивается вино, коньяк, водка в запотевшем графине с пробкой в виде хрустального яйца.

Я слышу скрип дубового паркета, слышу тяжелые шаги. Они приближаются, и вот в гостиной появляется дед.

На нем парадная форма, китель со стоячим воротником и золотыми погонами, сияющие кавалерийские сапоги и галифе с малиновыми лампасами. Даже сейчас я с удивительной точностью могу воскресить восхитительную смесь запахов – дух табака, кожи и сапожной ваксы перебивает свежая струя солдатского одеколона, аромата резкого, похожего на запах корки зеленого лимона, взрезанного морозным утром. Дед торжественно строг, он обходит стол, каблуки его сапог, подбитые стальными подковками, цокают, как настоящие шпоры. Папа Сережа, до этого лениво пялившийся в телевизор, торопливо гасит сигарету.

– С праздником, Платон Васильч! – выпрямляется он как школьник.

– С праздником, папа, – ласково улыбается мама.

Дед, не глядя на них, кивает. Я знаю, что он недолюбливает Сережу, но сегодня выволочки не будет, сегодня особый день. Обычно дедушка спуска ему не дает, иногда я даже боюсь, что дед снимет ремень и начнет пороть папу – как в книжках про царское время. Когда дед сердится, глаза его светлеют и из серых становятся почти василькового цвета, а

на скулах расцветает румянец. Папа Сережа потом ябедничает маме, негромко обзывает дедушку «сатрапом» и «центурионом». Мама успокаивает, что-то шепчет голубиным голосом, мне кажется, она тоже побаивается деда. Но сегодня – особый день, сегодня все пройдет мирно. Я надеюсь.

Сильной крестьянской рукой дед берет графин с водкой. Не за горлышко, а нежно подхватив широкой ладонью за дно. Замерзшая водка тягуче наполняет хрусталь рюмок. Мне, подмигнув без улыбки, дед наливает кагор. Полную до краев хрустальную стопку.

Еще нет десяти, телевизор бубнит восторженную чушь, за окнами ползет дракон. Его сердце ухает совсем рядом. Теперь к тугому грохоту добавляется визг труб. Под нашими окнами в сторону Красной площади проходит оркестр. Музыканты играют какой-то бесконечный марш, надрывный и визгливый; бесстыже сияют медные трубы, а впереди вышагивает самый главный – тот, с колотушкой и огромным барабаном. Бух... бух... бух – грохочет барабан. Бух... бух... бух... – гремит-колотит сердце дракона. По набережной, во всю ее ширину, ползет людская толпа, это демонстранты; над ними качаются воздушные шары – круглые и длинные, как сардельки, красные флаги, гигантские бумажные гвоздики, толпа тащит плакаты и фанерные щиты с черно-белыми фотографиями каких-то гладких стариков. С балкона толпа похожа на черную змею с красными узорами, ее голова уже где-то на Красной площади, а хвост все еще ползет по Красно-

холмскому мосту и прячется в дебрях Зацепа.

– Внимание! Внимание! – С мрачным торжеством произносит из динамика нашего «Рубина» демонический голос. – Говорит и показывает Красная площадь! Говорит и показывает Красная площадь!

Мне становится жутко, взрослые тоже замолкают. Я не понимаю, как каменная площадь может говорить, а уж тем более что-то показывать. Громыкнув первым аккордом, телевизор начинает играть гимн. Дед встает, поправляет большими пальцами ремень, строго одергивает китель. Гремя стульями, поспешно встают и все остальные. Бабушка комкает платок, я не понимаю, почему от этой громкой музыки у нее по щекам катятся слезы. Сережа, скучая, разглядывает холодец, его тонкие пальцы наигрывают ритм гимна на штанине, мама рассеянно смотрит куда-то в стенку, там висит картина с березовой рощей. Наверное, она тоже пытается разгадать, куда все-таки убегает лесная тропинка, которую коварный художник увел в изумрудную тень таинственной чащи. На меня нападает хохотун; пытаюсь проглотить смех, я тихо хрюкаю, дед слышит, он бросает грозный взгляд сверху вниз. Сжав до боли кулаки, я хмурю брови, стараюсь скроить мрачное лицо. Такое же, как у деда.

Главное – парад. Главное – танки! Танки грохочут по Красной площади – это в телевизоре, а через десять минут они уже наяву несутся по нашей набережной. Я с мамой внизу, мы стоим на тротуаре, рядом соседи – Владик Ермаков с

девятого, Женька Высоковский с седьмого. Они орут «ура» и как психи размахивают руками. Гремят гусеницы, режут моторы, танки мчатся мимо, иногда мне удается разглядеть в открытом люке лицо танкиста в шлеме. Колонна бронетехники проносится, точно лавина, как ураган. Грохот смолкает, в воздухе остается горький дух гари, а на мостовой – седые шрамы от гусениц. Мальчишки выходят на середину набережной, садятся на корточки и, ковыряя пальцами асфальт, начинают о чем-то серьезно рассуждать. Наверное, о том, как здорово быть танкистом.

– Чепуха, – отвечает дед, когда потом я говорю ему об этом. – Жизнь танка в современном бою равна трем минутам.

Три минуты? Мне не очень ясно, о чем идет речь, но я интуитивно понимаю, что в танкисты идти, скорее всего, не стоит.

5

Пуля пробила ветровое стекло, оставив в триплексе аккуратную маленькую дырку. Безухий пак дернулся и уткнулся в спинку переднего сиденья. Затих и замер, точно заснул. Шофер и длинный даже не заметили: шофер продолжал гнать, мастерски объезжая ухабы, длинный, выставив ствол автомата в окно, хмуро глядел по сторонам.

Когда джип выскочил на Серпуховскую, я поняла, что мы

направляемся в Донской монастырь, на базу Тамерлана. Тамерлана аль-Ашари – истинного и праведного халифа, потомка Омейядской династии, сплотившего вокруг себя истинных мусульман, «асхаб аль-хадис», *наджию спасенных*. А на деле – банду головорезов, недобитых талибов и боевиков из «Исламского джихада», Фронта ан-Нусра и других группировок того же пошиба.

Сам Тамерлан начинал обычным полевым командиром «Фронта Аллаха», дрался в Ираке, потом в Сирии. Руководил штурмом Пальмиры. После взятия города его отряд вырезал более четырехсот мирных жителей, по большей части детей и женщин.

Дальнейшую информацию, страницы две, можно смело пролистнуть. У нормального читателя вся эта белиберда – мешанина арабских имен, географических названий, крови, пыток и казней, похожая на сказку из «Тысячи и одной ночи», снятой в стиле трэш-хоррор, не вызовет ничего, кроме рвотного рефлекса. Привожу информацию здесь исключительно из журналистского педантизма, дабы продемонстрировать мое превосходное владение материалом.

Именно Тамерлан аль-Ашари отрубил голову директору Пальмирского музея Халиду Асаду. Всемирно известный археолог был казнен за поклонение древним идолам и пропаганду язычества. Видео, где Тамерлан, потный и азартный, из танкового пулемета расстреливает сорок женщин в римском амфитеатре Пальмиры, за день набрало двадцать мил-

лионов просмотров. Женщин обвиняли в колдовстве в пользу врагов истинного ислама и в пособничестве правительственным войскам средствами черной магии.

За попытку побега из тренировочного лагеря Тамерлан собственноручно отрубил головы двенадцати курсантам. Старшему из казненных было тринадцать лет.

Когда два года назад рухнул режим Сильвестрова и сам диктатор с остатками гвардии бежал в Питер, наспех основав там столицу Возрожденной Русской Империи, невнятного полуфеодального государства с границами, не выходящими за пределы Ленинградской области, честолюбивый Тамерлан ринулся в Россию. Страну бескрайних полей и голубоглазых женщин с льяняными волосами. Работоторговля давала неплохой доход, особенно торговля женщинами и детьми, особенно с белой кожей. Впрочем, основные деньги карманный халифат Тамерлана зарабатывал на транзите афганского героина.

О том, что творится в Донском монастыре, толком никто не знал. Точнее, достоверность этой информации оставалась сомнительной. Сам Тамерлан присвоил себе титул халифа, прямого представителя пророка Мухаммеда на земле с неограниченными полномочиями и именовал подчиненную ему территорию халифатом Джейш аль-Фатихин с гербом, флагом и задиристым девизом «Завтра – весь мир!».

Сочетая в себе фанатизм ваххабита с гибкостью дипломата, дремучесть фундаменталиста со смекалкой западно-

го маркетолога, Тамерлан умело ковал свой имидж. Делал это, толково используя всю мощь современных информационных технологий. Еще в Ираке, а особенно в Сирии, он осознал силу пропаганды, силу почти волшебную, способную при умелом манипулировании превратить тыкву в карету, мышей в четверку лошадей, замарашку в принцессу, а невзрачного таджикского пацана с нищей душанбинской окраины Шохмансур в неукротимого и блистательного принца. В яростного и бесстрашного воина, в великолепного Тамерлана.

Что есть истина? – вопрошал озадаченный прокуратор две тысячи лет назад. Истина? В двадцать первом веке истиной становится картинка на дисплее компьютера, видео на экране смартфона. Virtuозно сфабрикованная реальность, залитая в Интернет, становится истиной за сутки. Истина! Да мы можем сделать истиной что угодно! Наша аудитория с вождением готова проглотить любую несуразицу, лишь бы она была от души приправлена страхом, сексом, кровью. И чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят, – кто говорил, не забыли? Ведь правильно говорил, сукин сын, абсолютно верно.

На Тамерлана работало его личное информагентство «Аль-Хайят», по-арабски – «жизнь», название скорее ироничное, поскольку все сюжеты были так или иначе связаны со смертью. Мозгом и сердцем этой креативной фабрики стал Яшам Эмвази по кличке Скорцезе, знаменитый созда-

тель киношедевра «Тень орла», главной пропагандистской ленты Фронта ан-Нусра, отмеченной самим Вилли Вульфом как «продукция голливудского уровня».

Тамерлан спас Яшаму жизнь еще там, в Сирии. По совокупности проступков Скорцезе приговорили к смерти, к *раджм*. Раджм – это казнь, когда преступника забивают камнями до смерти. К слову, мне всегда была любопытна эта особенность ислама, где для приведения в исполнение смертного приговора одного из членов общества в качестве коллективного палача выступают все остальные соплеменники, включая родню преступника. В уголовно-бандитских группировках такой прием называется «повязать кровью».

Наказание – *укуба*, которое налагается на преступника судьей – *кади*, выносится на основании законов шариата. При вынесении приговора кади руководствуется исключительно исламскими первоисточниками – Кораном и Сунной. Как говорил пророк, ответственность за свои дела должны нести все люди, независимо от общественного положения и былых заслуг, а мера наказания должна быть адекватна преступлению.

Преступления делятся на три группы по степени тяжести: пресекающие, отмщающие и назидательные. Скорцезе удалось собрать весь букет самых тяжких грехов – *хадд-аз-зина* и *хадд-ас-сиркат*, а именно прелюбодеяние, употребление алкоголя и присвоение чужого имущества.

А вот еще на заметку: любопытным аспектом шариатско-

го закона является тот факт, что самым страшным преступлением считается деяние, направленное на моральный подрыв общества; не убийство, не нанесение увечий – за такие пустяки можно заплатить простой выкуп или подвергнуться общественному порицанию, нет, смертной казнью наказывается адюльтер и выпивка. Секс и алкоголь. Что для европейца, какого-нибудь заурядного парижанина, барселонца или, упаси боже, жителя порочного Амстердама, не просто банальная обыденность, а суть и смысл существования, естественная ткань его бытия.

Скорцезе приговорили к смерти. В ночь перед казнью Тамерлан перебил охрану тюрьмы и вместе с преступником скрылся, как пишут в криминальных сводках, в неизвестном направлении. Вместе с Тамерланом исчезли двадцать три миллиона долларов, вырученные от продажи героина, оружия и человеческих органов, деньги, которые он должен был передать в штаб-квартиру Ракке. Руководство Фронта объявило награду за голову Тамерлана в пять миллионов. Через неделю сумму удвоили. И снова без результата.

Через месяц Тамерлан всплыл в Пакистане, а после – в Афганистане, в провинции Кундуз. К тому времени его отряд уже насчитывал около двухсот бойцов. Он не рекрутировал наивных неопитов и необстрелянных пацанов, он набирал профессионалов. Он платил им хорошие деньги в твердой американской валюте, и его маленькая армия неизменно демонстрировала отменное мастерство в искусстве войны и

смерти.

В прошлом сентябре я собирала информацию для материала по группировке Тамерлана, часть статьи опубликовала «Нью-Йорк таймс» с моей фотографией на первой полосе; замаячила даже призрачная надежда на «Пулицера», безусловно, наивная, приз получил какой-то идиот из «Лос-Анджелес ревью». За репортаж о банде карликов-культуристов, спасавших бойцовых собак в окрестностях Сан-Франциско. Карлики – пятеро, одна из них женщина – выслеживали организаторов нелегальных собачьих боев и ночью, перепилив прутья в собачьих клетках, уносили с собой питбулей и ротвейлеров. Собак предварительно усыпляли; один из карликов, индеец-чероки, утверждал, что он дипломированный собачий гипнотизер и запросто может за три минуты усыпить пса любой масти среднего размера.

Да, именно этот бред взял моего «Пулицера»!

Мне не везет хронически, для моего невезения следует придумать какой-то особый термин, нечто с приставкой «паталого-», состоящий желательно из трех зловещих слов, из трех медицинских терминов неясного смысла.

В глухой предрассветный час, когда темнота подступает к горлу и дышать становится неважно, мне кажется, что я расплачиваюсь за чьи-то грехи, и тогда все мои мытарства обретают логическую стройность и даже некое подобие изошренной иезуитской миссии. Что-то типа трагического искупления, вроде средневековой истории из жития святых.

Или страданий первых христианских мучеников. Появляется смысл в каждом шаге моего безрадостного бытия. Вроде лунных квадратов на бездонном полу церкви, ведущих мутной тропинкой к самому алтарю. Жертвенному алтарю, а не к какому иному. Пыль, вонь мастики и старого дерева – мне кажется, так пахнут старые высохшие мумии. Труха в желтой и жесткой, как картон, коже. Труха и грехи. Если бы меня попросили придумать запах к отчаянию, я бы выбрала именно этот. Аромат безнадежности.

Я давно перестала жаловаться, я не ною и не скулю. Не жалуясь даже самой себе. Я разучилась плакать. Там, где у людей душа, у меня черная дыра, воронка от бомбы. Рваная рана. Я не жалуясь, я подтверждаю диагноз. Но болезнь моя не из области медицины, доктора не отпускают грехи. Тем более не мои, чужие.

Порой во мне звучит голос; не думаю, что это полноценная шизофрения, я видела шизофреников – я еще не добрела до того края. Голос мне знаком, он ласков, почти сердечен, этот голос. Он желает мне добра, тут сомнения нет. Это голос моего деда.

Куда ты зовешь меня?

Что ты там бормочешь, милый деда?

Говоришь, что страха нет, страх придумали глупцы и трусы? Я знаю, знаю, милый деда, знаю – страха нет. Я и не боюсь. Мне осталось жить дней пять, неделю от силы: Тамерлан попытается получить за меня выкуп – миллион, мо-

жет три – разницы никакой. Американское правительство в переговоры с террористами не вступает, Америка бандитам денег не платит. Мой нью-йоркский главред Лизбет Ван-Хорн, думаю, просто перешлет сообщение кому-нибудь на четырнадцатый этаж, добавив в титул письма строчку от себя «проблема с персоналом (в Москве)». А эти, с четырнадцатого, даже не ответят: ведь всем известно, что Америка с террористами в переговоры не вступает.

Страха нет, умирать мне не в первый раз, да и мой старик прав, какой от страха прок? Самое никчемное чувство на свете, самое никудышное. Тревогу вселяет лишь стальная басовая струна, которой перепилили горло Виллу Буту.

6

Когда моя мать стучала в незнакомую дверь, я стояла за ее спиной с карманной Библией в потной руке. От шерстяного воротника жгло натертую шею, черная шерсть платья воняла прелой козлятиной, и я чувствовала, как щекотные капли горячего пота одна за другой сползают по желобку позвоночника под резинку трусов. Я стояла за ее спиной и улыбалась. Улыбалась именно так, как она меня учила, – улыбкой ангела, принесшего благую весть.

Моя бедная мать сошла с ума еще в России. Или страна уже называлась СНГ? Или как-то еще? Матушкино тихое помешательство осталось незамеченным на фоне общего безу-

мия, скорее наоборот – именно она, моя матушка, выглядела разумной, спокойной и логичной на фоне предпоследнего акта великого русского Апокалипсиса.

Миллионы наших обескураженных сограждан к тому времени уже толком не знали кто они такие, – советский народ, россияне или просто русские. Доценты становились истопниками, кадровые офицеры шли в сторожа; учителя и инженеры мотались в Турцию и обратно и неожиданно бойко торговали пестрым тряпьем на олимпийских стадионах, превращенных в барахолки.

Золотое солнце новой эры вставало над Страной Дураков. Поле Чудес растянулось на двенадцать часовых поясов и привольно раскинулось от Камчатки до Калининграда, от Белого моря до Черного. Капитализм объявили божьей благодатью, непонятные слова «инвестиции», «пакет акций», «ваучер», «процентная ставка» повторялись как заклинания, рыжий пацан со смешной хохляцкой фамилией бойко врал по первому каналу, что совсем неважно, кто хозяин завода – ты или я, главное, чтоб у завода появился хозяин. И тогда всем нам будет счастье.

Русское простодушие и вера в чудеса оказались убедительней сомнительных теорий бородатого Маркса. Наступала новая пленительная жизнь, жизнь, свободная от здравого смысла и логики. Жизнь, неподвластная законам физики, жизнь, вырвавшаяся из скучных оков арифметики. Долой цифры, да здравствует чудо! Квартиру на Фрунзенской

набережной можно было купить за месячное пособие американского безработного. Проституция оказалась вполне приличной профессией. Бандиты и менты оделись в черную кожу и даже внешне стали теперь неразличимы. Комсомольцы неожиданно проявили потрясающие экономические таланты. Ленин оказался сволочью, евреем, калмыком и чуть-чуть даже немцем. Дзержинский – наркоманом и педерастом, Сталин – импотентом и садистом, с ярко выраженным эдиповым комплексом. «Архипелаг ГУЛАГ» продавали на каждом углу вместе с «Жигулевским» и шоколадными яйцами из Баварии. По вечерам вся страна пила голландский спирт «Рояль», смотрела программы про зверства своих отцов и дедов, а после заряжала трехлитровые банки перед экраном телевизора с двумя вкрадчивыми пройдохами, Чумаком и Кашпировским, которые называли себя «психотерапевтами».

Тогда же испарился Сережа, мой инфантильный и по-женски капризный родитель, красавец, похожий на французского актера Делона, с чуть вялым подбородком и безупречными ногтями. Он занимался журналистикой как хобби, но грозил написать «настоящий роман», больше всего любил жареную треску в панировке и ватрушки с топленым молоком. Главным мужским качеством считал начищенные до зеркального блеска ботинки. «Екатерина, знакомишься с мальчиком, – учил меня Сережа, – всегда смотри на ботинки!»

Мне только исполнилось тринадцать, и я плевать хотела

на мальчиковые ботинки. К тому времени мой биологический папаша (назвать его отцом язык не поворачивается даже сейчас) окончательно перешел в разряд персонажей, абсолютно лишенных авторитета и уважения, пополнив черный список позора, который открывала Марья Николаевна, школьная директриса, и замыкал генерал Лобода, наш сосед сверху. Директрису я застучала на откровенном вранье, а генерал лупил своего пуделя во время прогулок.

Спустя месяц после его исчезновения мы получили открытку из Болгарии с бирюзовым пейзажем и чайками, кажется, это был Слынчев Бряг; Сережа желал нам обеим – матери и мне – удачи и здоровья и объявлял о начале новой жизни. Своей жизни. Мать тихо – у нее был талант ступать бесшумно даже по нашему старому дубовому паркету – сходила на кухню и вернулась в гостиную с железным молотком для отбивки мяса. Спрятав очки в карман ситцевого халата, она подошла к стене и с азартом принялась колотить рамку со свадебной фотографией. После аккуратно смела осколки в совок. На стене остались безобразные раны, которые я впоследствии завесила бесплатным календарем с похотливыми девицами, ласкающими стиральные машины и другую бытовую технику.

Легковесный Сережа сам по себе не смог бы угробить мать – калибр был мелок, он просто оказался последней каплей, той самой фатальной соломинкой, ломающей спину верблюду. За год до исчезновения Сережи умер дедушка, мамин

отец, генерал не столько по званию (в отставке он был уже лет десять), сколько по функции, производной от значения и смысла английского прилагательного general. Главный, основной, наиважнейший. Думаю, и Сережа драпанул, учуяв своим заячьим нутром, как те звери перед землетрясением, грядущий крах дома Каширских. Да, как у Эдгара По. Ведь даже дураку ясно, что без центральной опоры крыше и стенам долго не продержаться.

Мать уволилась с журфака, где она преподавала английскую литературу, впрочем, один черт, зарплату в университете не платили уже месяца четыре. Пыталась подработать переводами: некто Славик, похожий на балагура-физрука, подкидывал ей работенку – инструкции к компьютерам, но Славика вскоре взорвали в его «Мерседесе» какие-то чеченцы. Сгоревший кузов машины показывали в криминальных новостях по Московскому каналу. Загадочные слова «хард-драйв», «винчестер», «мегабайт», напрочь отсутствующие в словарях и напоминавшие тарабарщину из научной фантастики, перестали звучать на кухне, где матушка обустроила свою переводческую берлогу.

Позвонила школьная подруга Зойка, спросила, потянет ли мать синхронный. «Какая специфика?» – поинтересовалась мама. «Да какая разница, кажется, что-то религиозное», – ответила беспечная Зойка. Безобидный звонок оказался фатальным, или, как писали в викторианских романах, «он стал роковым поворотом в нашей судьбе».

Джошуа Локк показался мне стариком, впрочем вполне крепким. На самом деле ему было чуть за пятьдесят. Бровастый, с седыми усами, в настоящих ковбойских сапогах с серебряными набойками на хищных носках, он говорил низким голосом с убедительной хрипотцой. Так говорили благородные шерифы в американских вестернах. Его английский отличался от британского жеманного выговора простоватой честностью и приятной округлостью согласных R и W. После травоядного Сережи даже престарелый Локк выглядел завидным мужиком.

О иеговистах, или Свидетелях Иеговы, я не знала ничего. Джошуа, которого мама церемонно называла «сэр», принес нам целую коробку литературы на русском языке – три Библии в черных дерматиновых переплетах, журналы с пугающими названиями «Пробудись!» и «Сторожевая башня» и несколько пачек религиозных брошюр на дешевой бумаге. Мама, безусловно прилежная во всем, начала кропотливо знакомиться с концептуальной основой теории Свидетелей Иеговы. Пионерское детство и комсомольская юность, учеба в университете, а после работа на факультете журналистики оставили мою матушку абсолютно девственной в вопросах религии. Ее познания ограничивались сумбуром из булгаковского романа, интуитивным пониманием сюжета знаменитых картин («Поклонение волхвов», «Бегство в Египет», «Поругание Христа» и прочими подобными хитами изобразительного искусства) и двойным виниловым альбомом рок-

оперы «Иисус Христос – суперзвезда», второй диск которого постоянно заедал на арии царя Ирода, исполняемой в стиле задорного чарльстона.

– Представляешь, – кричала мне мать из кухни. – Оказывается, нет никакой Троицы! Ты слышишь?

Я плелась на кухню.

– Оказывается, Троица – это просто наследие язычества! – отложив карандаш, которым делала пометки в брошюре, она радостно смотрела на меня. – Я сама никогда не могла понять – это ж нонсенс! Что такое – триединство? Глупость какая-то!

Надо признать – у Свидетелей Иеговы была своя логика. Святой Дух они считали просто божественной энергией, а не личностью, а уж тем более каким-то голубем. Христос никогда не был сыном Бога, он выполнял его божественные поручения в качестве посланника и глашатая. Пророка. Иногда Бог наделял его способностью демонстрировать кое-какие чудеса. После распятия Бог воскресил Иисуса, а после вознес на небо. Дева Мария с ее непорочным зачатием, старик Иосиф, волхвы и зарезанные младенцы – все эти языческие сказки имели одну цель: привлечь к новой вере колеблющихся идолопоклонников.

Сам Джошуа обрел веру давно, когда его, еще почти пацаном, загребли в десант и отправили воевать во Вьетнам. Через два месяца он угодил в плен и провел полтора года в клетке из бамбука где-то в джунглях на юге провинции Кха-

ньхоа. Его соседом по заточению был проповедник из Миссисипи, одноглазый негр с неуместно щеголеватой фамилией Де Помпадур. Времени было хоть отбавляй, проповедник оказался говоруном. Скверная еда, дрянной климат, по ночам Джошуа снился Армагеддон – великая битва Бога и Сатаны, в результате которой должны были погибнуть все безбожники.

Иеговисты не будут принимать участия в бойне, лишь наблюдать за уничтожением грешников. Следить, как Бог, изощренными способами, известными нам по Священному Писанию, будет очищать планету от нечисти. Негр уверял, что после безусловного поражения сил зла Иисус вернется на землю и будет править миром. И его правление станет земным раем, которым смогут насладиться лишь Свидетели Иеговы.

Джошуа вернулся в Арканзас неукротимым неопитом. В родном поселке Совинья гора он основал первую общину Свидетелей Иеговы в округе и стал ее проповедником и духовным наставником. Собрания поначалу проводились в старом амбаре с худой крышей. Через год Джошуа удалось набрать денег на деревянную церковь (иеговисты называют места своих сборищ Залами Царства), а через десять лет Джошуа Локк уже проповедовал на многотысячных стадионах, куда он прилетал на личном вертолете.

В Москве, в душных актовых залах школ, в Домах культуры, в пыльных кинотеатрах, собирался городской люд – по

большей части бабы с простоватыми лицами, сердитые и любопытные, вконец сбитые с толку враньем проходимцев, которые называли себя политиками, экономистами и реформаторами. Я тоже сидела в зале, тихо выполняя роль шпиона, прислушиваясь к репликам этих теток, к их комментариям.

Джошуа, сухой и строгий, похожий на крупную черную птицу, ходил по сцене, мерно постукивая каблуками кованых сапог. Звук напоминал ритм метронома, что-то в темпе «пьяно модерато». Держа микрофон в крепком загорелом кулаке, он иногда останавливался и обращался прямо в зал, иногда поднимал голову, точно разговаривая с кем-то наверху. Его баритон завораживал, мастерские модуляции, округлый арканзасский акцент, шерифская усталая хрипотца. О эта шерифская хрипотца! – московские тетки млели. Даже те, кто не понимал ни слова по-английски.

Эти слова переводила моя мать. Смирная и серьезная, в тугом платке, в старом платье мышинового цвета, она сидела в углу сцены, сложив руки на коленях. В промежутках между фразами она подносила микрофон к губам и проникновенно в него шептала. После рокочущего баритона Джошуа, божественно грозного, ее голос звучал ангельским воркованием.

– Бог един и имя его – Иегова. Мы живем в эпоху последних дней, накануне Армагеддона, величайшей битвы между добром и злом. Еще при нашей жизни Иисус Христос, посланец Божий, явится во славе на землю и станет вершить Страшный суд. И только уверовавшие в Иегову, только по-

мазанники Его, только малое стадо, составляющее сто сорок четыре тысячи, отправятся на небо.

Конкретная цифра, вроде точного (всего сто сорок четыре тысячи!) количества посадочных мест в самолете, пугала и внушала доверие ко всей истории. Для теток, проживших все годы среди очередей и тотального дефицита, тот аспект, что на всех рая точно не хватит, казался наиболее убедительным. Они и раньше нутром чуяли какой-то подвох в православии, некую недоговоренность и отсутствие конкретики. Теперь все встало на свои места: наша отечественная вера, как и все, произведенное на родине, оказалась полным хламом – не качественней наших телевизоров, ботинок и автомобилей. Досадно было, что снова пытались надуть – сперва с коммунизмом, а теперь, как выяснилось, и с Царством Небесным.

В финале выступления, когда дышать уже было совершенно нечем от жаркого бабьего пота и вони паркетной мастики, Джошуа спускался в зал и раздавал желающим дешевые брошюры. Этот акт назывался «Донести жалящую весть». На желтоватой бумаге ясно и по-русски говорилось о том, что Бог уничтожит всех нераскаявшихся грешников. Не отправит в ад на вечные муки, с хоть и незначительной, но все-таки вероятностью на искупление, а просто сожжет огнем и серой. Как в крематории. Да, я забыла сказать главное – никакой бессмертной души нет. Единственный шанс спастись – это попасть в число помазанников Иеговы и быть воскре-

шенным для вечного счастья с Ним на небесах.

Мистер Локк не говорил по-русски абсолютно, поэтому нуждался в переводчице постоянно. Мама пыталась обучить его набору ходких и полезных фраз типа: «Здравствуйте, меня зовут Джошуа!» или «Люди, я принес вам благую весть». Но, видать, всемогущий Бог по таинственной причине обделил американца способностью к изучению чужих языков; единственное слово, которое он запомнил и научился произносить, было «чемодан».

Вместе с мамой они ездили на какие-то переговоры и деловые встречи, а к февралю Джошуа и вовсе перебрался к нам на Таганку. «Четыре комнаты пустуют, – оправдывалась мама и, розовея щеками, добавляла: – К тому же он вдовец, и ничего тут предосудительного я не вижу». По утрам на заснеженном балконе Джошуа, голый по пояс, делал какие-то плавные упражнения, похожие на танец в тягучей воде; на правом его плече белел рваный шрам от вьетконговской шрапнели, а на крепком, как бильярдный шар, левом бицепсе синела выколотая эмблема: парашют и две скрещенные сабли. В американской армии воздушный десант назывался изящно и романтично – «Летающая кавалерия».

Не успев наладиться, наша новая жизнь закончилась: Свидетели Иеговы были объявлены вражьей сектой, их деятельность признана вредной. Мистер Локк получил отказ в продлении визы, но, будучи мужчиной решительным, он успел расписаться с мамой. Ни свадьбы, ни церемонии не было –

они заполнили какие-то бумажки в загсе рядом с Савеловским, в зале, похожем на фойе советского кинотеатра. Мы бежали из Москвы как из пылающего дома.

Америка ошаршила и разочаровала меня. Я не увидела стеклянных небоскребов, многоярусных автострад, роскошных лимузинов и убийственных красавиц. Арканзас, заспанный и жаркий, с белой от солнца травой, жухлыми кустами мятых азалий и бессмысленно синим небом, неподвижным и мертвым, напомнил мне провинциальную Анапу, куда меня как-то сослали на все три смены в пионерский лагерь с обманчиво задорным названием «Салют». Школа, низкорослая постройка, похожая на слепой барак из красного кирпича, сонные улицы, пустая площадь с высохшим фонтаном перед мэрией, несколько церквей с фанерными четырехгранными башнями и жестяными крестами. У нашей церкви не было ни колокольни, ни креста (иеговисты не признавали распятие как символ веры), здание напоминало гигантский бревенчатый амбар, выкрашенный белой краской.

Много лет спустя мне попал в руки толстенный трактат доктора философии Джерри Бергмана, где указывалось, что членство в организации иеговистов существенно увеличивает риск развития психических заболеваний, в том числе и таких тяжелых, как параноидальная шизофрения. Частота психических заболеваний среди Свидетелей Иеговы во много раз превышает средние показатели, поскольку «учение Сторожевой Башни и его субкультура существенно негативно

вливают на психическое здоровье вовлеченных».

Это их книги. И вот еще: «Согласно этому исследованию, хотя люди, испытывающие психологические проблемы, более восприимчивы к пропаганде Свидетелей Иеговы, вступление в организацию не только не решает эти проблемы, но способствует их усугублению».

Последняя фраза запомнилась навсегда: она была написана про мою бедную мать.

7

Наступили летние каникулы, как выяснилось, в Америке они тоже есть. Той весной я неожиданно вытянулась сразу на два дюйма, кофты стали тесны, запершись в ванной, я с изумлением разглядывала свою набухающую грудь, темные чужие соски. Каждое утро мы с мамой отправлялись на какую-нибудь окраину и там, методично, один за другим, обходили все дома. Стучали в каждую дверь, пытаюсь донести благую весть.

Мать – в сером свитере, несмотря на жару, в длинной вдовьей юбке, тоже серой; на лице – выражение тайного торжества, скрытого под тихой полуулыбкой. Короткая стрижка, бледная шея, никакой косметики. В руке – сумка с брошюрами.

Открывают нам редко, еще реже пускаются в разговоры, за всю неделю нам удалось всучить лишь две брошюры. Но

это не повод для отчаяния, говорит мать. В этих сонных домах, за каждой дверью мужчины, женщины и дети, которым неведома Божья благодать. Спасти их – наша цель.

Спасти незнакомых людей, дать им шанс обрести рай. Рай! Мне самой поначалу наша миссия казалась смелой, благородной и милосердной. Постепенно, капля за каплей, эти чувства из меня вытекли, и пустоту заполнил стыд. Стыд за себя, за мать, за ее арестантскую стрижку, за мое черное платье, похожее на каторжную робу. Стыд, темный и густой, поднимался как тошнота. Стыд и отчаянье: почему я не могу быть такой же, как мать, – доброй, чистой, полной веры в Бога? Почему я не могу стать такой же открытой и щедрой? Безгрешной. И что делать с ядом зависти и с грязью похоти? С этими липкими снами, потными простынями, блуждающими горячими руками, алчущими лакомств, – что делать с этим? Искушение плоти, так они называют этот грех, да и есть ли во мне вообще что-то чистое, и где она, эта чистота, эта святость? Почему я не могу отыскать ее? Или я вся состою из греха? Из порочных мыслей, желаний и снов. Даже сейчас, сейчас, когда мы пытаемся спасти заблудшие души, похотливый зуд украдкой ползет по телу, наполняя пульсирующим жаром низ живота, стекая ниже, ниже...

Мать стучала в следующую дверь, я стояла за ее спиной и молила Бога остановить эту пытку. Щелкал замок, домохозяйка, сонная и мятая, вопросительным взглядом окидывала нас сверху вниз и обратно. На лице появлялась брезгливость,

не дав матери договорить, она захлопывала дверь.

Иногда с нами разговаривали одинокие старики. Иногда пьяные. Эти ругались или издевались; грешники, гордые своими пороками, хвастливо выставляющие их напоказ. Мать доброжелательно улыбалась и тем и другим, а я не понимала, почему всемогущий Бог не хочет упростить нашу задачу. Ведь это же в Его власти. Ведь Ему стоит только захотеть.

Следующий дом. Мы обошли куст сирени, гроздь цветков, перезрелые, изнемогая от жажды, тяжело клонились к пыльной траве. Крыльцо в солнечных пятнах, скрипучие ступени, я остановилась на нижней, мать поднялась и постучала. Тишина, наполненная сладковатой вонью умирающей сирени. Томительная тишина, похожая на предчувствие зубной боли. Кажется, никого. Господи, сделай так, чтоб там никого не было. Господи, пожалуйста, ну что Тебе стоит прекратить это унижение?

Бог не услышал, наверное, был занят: за дверью послышались шаги. Звякнула задвижка.

– Да? – Мужчина распахнул дверь. Он улыбался, точно ждал нас.

– Мы принесли вам благую весть, – с уверенным оптимизмом проговорила мать.

– Отлично! – воодушевленно отозвался он.

– Да! – Мать вытянула из сумки брошюру в рыжей обложке. – Благую весть о Божьей любви.

– Отлично! – повторил он. – Заходите!

В тесной прихожей было не развернуться, хозяин подтолкнул нас в сторону приоткрытой двери. Мы прошли в комнату. Горьковатый запах кофе перебивала кислая вонь окурков.

– Кофе хотите? – энергично спросил хозяин. – Кофе?

Он звонко хлопнул в ладоши и быстро потер их. Шершавый нервный звук. Синие джинсы, грязноватая нательная майка, длинные пегие волосы были собраны в хвост, пережатый васильковой резинкой. Сухощавый и загорелый до медной красноты, он напоминал копченую скумбрию, которой торговали в нашем московском продмаге. Золотистая рыба с выпученными глазами. Хозяин хищно зыркнул на мать.

– Ну? Кофе?

– Нет, – ласково отказалась мама. – Кофе не надо.

– Боженька не велит?

Хозяин, как в тике, дернул головой и резко засмеялся. Он не был пьян, но что-то с ним явно было не так. Мать продолжала улыбаться.

– Ну хорошо, – согласилась она. – Давайте ваш кофе.

Он снова хлопнул в ладоши.

Мы застыли на пороге гостиной; в косых лучах плыл си- зый табачный дым, немой телевизор показывал автогонки. На вытертом ковре темнела какая-то лужа. Среди разноцветного мусора, сползавшего с журнального стола, – пакеты с

картофельными чипсами, газеты, мятые пивные банки;, я заметила детскую куклу, голую, из розового пластика. Это была Барби, длинноногая, со вздернутым бюстом, невозможной талией и льняными волосами. С кухни донесся звон посуды.

– Тебя как зовут? – Хозяин протянул мне фаянсовую кружку.

– Катерина, – произнесла я, картавя на американский манер.

– Ух ты! – обрадовался он. – Катерина! Как святую! Здорово, Святая Катерина! А про «Колесо Катерины» знаешь? Это тоже в ее честь.

– Что это?

– Это средневековая пытка. Инквизиция, слыхала? Тоже ваши ребята... Так вот, инквизиторы привязывали человека к колесу и железными палками били его до тех пор, пока не ломали все кости. Класс, да?! Все кости к чертовой матери...

Он сипло засмеялся, потом закашлялся.

– Мы принесли благую весть... – повторила мать, она не знала, куда поставить кружку с кофе. – Благую весть о Божьей любви.

– Ух ты! Какой класс! А как насчет ада?

– Ада нет! – гордо заявила мать, точно операция по ликвидации ада проводилась под ее личным командованием.

– Вот как! А куда грешников девать будете, что для них?

– Ничего. Пустота. Черная бесконечность.

– Ничего?

– Ничего.

– Ни серы, ни пламени? Ни чертей с трезубцами?

Мама отрицательно покачала головой.

– Просто пустота... – задумчиво произнес хозяин, точно прикидывая что-то.

Мать кивнула.

– Пустота... А что, – он отхлебнул кофе, – не так уж и плохо.

– Нет, плохо. Ведь альтернатива – вечное блаженство. Райская благодать рядом со всемогущим и милосердным Творцом вселенной. Это ли не счастье – вечная жизнь у Бога под крылом?

Она пристроила кружку на край старого буфета. Тут же, на клетчатом кухонном полотенце, лежало круглое зеркало, испачканное белой дрянью, вроде соды или пудры. Я сжимала свою кружку немymi пальцами, искоса поглядывая на хозяина.

– Значит, ада нет... – Он запнулся, хмыкнув, хитро спросил: – А как же конец света?

– Грядет... – неопределенно ответила мать.

– Когда?

– Скоро. Все в руках Божьих.

– Я слышал, конец света обещали несколько лет назад, да что-то там не сложилось у вашего Бога.

– Иегова безгрешен. Люди совершают ошибки, люди

неправильно интерпретируют божественные знаки. Так всегда было. Человек порочен по своей природе, он должен покаяться и заслужить любовь Бога. И тогда...

– Заслужить?! – сорвался на крик хозяин. – Я что ему, Бобик? Жучка? Плясать на задних лапках? Любовь, мать твою, заслужить...

– Он нам дает шанс...

– Да пошел он со своим шансом! – Хозяин грохнул кружкой о стол, брызги кофе полетели в стороны. – Если уж Богу так хочется, чтоб его любили, то почему бы ему первому не подать нам пример? Как там насчет расположения с его стороны? А? Чуть-чуть...

– Иегова милостив...

Хозяин подскочил к матери, та осеклась, отпрянула. Он ухватил ее за руку, толкнул к дивану. Мать, бледная, со сжатыми губами, боком, неуклюже плюхнулась на подушки.

– Что ты знаешь о милосердии?! – заорал он в лицо матери. – Ты, овца безмозглая! Божья корова! Что ты вообще знаешь о жизни? Кроме своих молитв да проповедей – что?!

Я перестала дышать. Кожу на затылке свело, точно кто-то одним резким движением закрутил мою голову, как воздушный шарик; от кислой горечи во рту меня чуть не вырвало. Кружка сама выскользнула из рук, мягко стукнулась о ковер. Хозяин даже не обернулся на звук. Его медный профиль с хищным белым глазом вплотную уткнулся в лицо матери.

– Милосердие, ты говоришь? Милосердие? – Он загово-

рил сипло, с тихой угрозой. – Любовь и доброта, да? А если тебе за эту доброту, за любовь эту, плюют в лицо? Да-да, в глаза плюют! Как тут быть, что тут делать прикажешь? Как такое понять можно, как объяснить? Вкальываешь, как каторжный... как собака – день и ночь! Все в дом тащишь... Хочешь то – пожалуйста, хочешь это – извольте!

Мать вжалась затылком в подушку дивана, лицо застыло, губы стали серыми. У меня всплыла мысль, что, наверное, надо выскочить, распахнуть дверь, позвать на помощь. Но я не смогла даже двинуться с места; ноги, руки, все тело казалось неживым, аморфным, точно мешок, набитый сырым песком.

– А потом... потом она находит какого-то... – Он задохнулся от ярости. – Какого-то ублюдка, и с ним улепетывает в Калифорнию! С ублюдком! Сволочь! Сволочь, стерва, сука!!! И дочь, дочь забирает!.. Дочь! Уезжает с этим недоноском, и дочь, понимаешь ты, дочь...

Он рычал, орал, капелька слюны попала матери на щеку. Мать не двигалась. Хозяин вытянул жилистую шею, дернулся, как в конвульсии; раз, другой – точно заводной механизм внутри него дал сбой. Оглянулся, схватил зеркальце с буфета. Вытащил из кармана стеклянный пузырек, нервно цокая, вытряс на зеркальную поверхность белую пудру. Припав щекой, жадно втянул ноздрей порошок.

– А-а! – Его будто ударило током, он вскинулся, выставив острый кадык.

Судорога прошла по его телу. Кинув зеркало на ковер, он сжал кулаки, белыми безумными глазами обвел комнату. Слепой взгляд скользнул по моему лицу, уткнулся в мать.

– Ага, вот она! Божья овца! Спасать мою душу пришла, значит? Душу мою бессмертную спасти!

Он с грохотом выдвинул из буфета ящик, не глядя, пошарил там. Достал пистолет, вороненый револьвер с коротким, точно обрубленным, стволом. Большим пальцем оттянул боек, внутри пистолета что-то мелодично клацнуло. Такой звук издает хорошо смазанный дверной замок.

Хозяин медленно наклонился к матери и упер ствол в середину ее лба.

– Значит, так... – произнес он неожиданно тихо, почти ласково. – Так, значит... Сейчас мы устроим твоему Богу экзамен. Экзамен на предмет любви и милосердия. Поглядим, как у него самого с этим делом...

Мать не шевелилась. Из-под ее бедра по диванной подушке стало расплзаться мокрое пятно, край юбки потемнел, с него потекло по ногам, беззвучно закапало на ковер.

– Я так понимаю, тебе место под крылом Божьим обеспечено, правильно? Отвечай, корова небесная! – Он ткнул ее стволом в лоб. – Отвечай!

Он не кричал, говорил вкрадчиво, спокойно, и от этого мне становилось еще страшней. Мать едва заметно кивнула.

– Чудесно, чудесно... План у нас будет простой: я тебя сейчас отправлю прямиком к твоему Господу, а ты его там

уж постарайся уломать, чтоб он и меня пристроил куда-нибудь поуютней. В теплое местечко. Рай мне без надобности, можно что-то и попроще – я не гордый. Обойдусь без класса люкс...

Он плавно подался назад, продолжая держать мать на прицеле. На ее лбу осталась аккуратная красная окружность, похожая на бинди, которые рисуют себе индийские женщины.

– Ты давай, начинай. – Хозяин покрутил стволом пистолета, точно приглашая. – Молись-молись.

Мать беззвучно что-то зашептала. Опустила веки.

– Смотреть! – внезапно заорал он. – В глаза мне смотреть!

Я от крика дернулась, хозяин, точно хищник, отреагировал на движение, резко повернулся ко мне.

– Подойди! – рявкнул он. – Ближе! Еще ближе!

Я подошла почти вплотную. От него разлило потом и куревом. Еще пахло машинным маслом от револьвера. Этот запах теплого металла и ружейной смазки, запах хорошо смазанной механической смерти, показался мне странно знакомым. Запахи обладают почти мистической способностью оживлять какие-то тайные, напрочь забытые события, воскрешать туманные ассоциации и параллели. Моя память вдруг вспыхнула, ожила, попыталась нащупать и вытянуть эту звонкую нить из темноты.

– Пожалуйста, не трогай ее, – едва слышно пробормотала мать. – Пожалуйста, не надо...

Она некрасиво скривила рот, покачиваясь, подалась впе-

ред и беззвучно зарыдала. Нет, не беззвучно – из ее груди донесся странный и протяжный звук, похожий на скрип. Или на писк, будто это воздух выходил из пропоротой резиновой шины.

Дальнейшие события отпечатались в моей памяти с потрясающей дотошностью, мне трудно найти объяснение, но это так.

Хозяин левой рукой взял меня за подбородок, точно оценивая товар. Поразили его огромные зрачки, черные. Совсем не человеческие глаза. Удивительным образом, словно вбирая в себя все сразу, я видела одновременно и блестящий, будто покрытый алым лаком, узкий нос, и пегую щетину на подбородке, шрам, наверное от бритвы, и клеймо на револьвере Made in Italy, и голую куклу на столе среди объедков и сигаретных окурков. И мятый лист бумаги с детским рисунком – круглолицая принцесса на тонких ногах и подписью «Мелисса» печатными буквами. Все это плюс мою мертвенно-бедную мать, застывшую на сырой подушке.

Он опустил руку, вжикнула молния.

– На колени! – тихо приказал он мне.

Я не двинулась, старалась не смотреть вниз, но все равно увидела эту румяную мерзость, жилистую и лоснящуюся, похожую на скользкую новорожденную рептилию. Вдруг до меня дошло: вот оно, наказание за сладострастные сны, за похотливые мечтания! Кара за греховное рукоблудие, за мои ночные пакости! Да, да! Возмездие Божье! Про то и в Библии

написано, и в церкви талдычат каждый день. Тайное станет явным, и каждому воздастся по заслугам. По заслугам!

– На колени... – повторил он и крепко сжал мое запястье.

Не пальцы – клещи, он сдавил руку и начал клонить меня к полу.

Смертный грех, да, один из семи. Блуд! От Господа не утаишь, Он все видит, видит насквозь – меня, порочную, грязную. Видит мои мысли и сны. Я вся состою из греха! Из похоти! Господи, ну почему у меня не получается быть чистой? Помоги мне! Что я делаю не так? И почему Ты, Господи, не хочешь мне помочь стать безгрешной? Почему? Ведь они уверяют, что Ты любишь всех? Всех! И таких, как я тоже!

Он толкнул меня. Я грохнулась на колени. Розовая рептилия, безобразно вздувшаяся, подалась к моим губам. Я отшатнулась, увидела лицо матери, мокрое от слез, застывшее в беззвучном вое: «Господи, ее-то за что? Ведь так нельзя, Господи!»

– Молись, божья корова! – Хозяин направил пистолет в лоб матери. – А ты, малявка...

Он брезгливо посмотрел на меня, посмотрел сверху вниз. Именно в этот момент что-то произошло, будто кто-то щелкнул выключателем в моей голове. Страх исчез. Раз – и нет! Исчезло отчаянье, пропали мысли. Эту пустоту моментально заполнила упругая энергия. Словно в мое вакантное тело вселился кто-то решительный, беспощадный и хитрый. Дьявольски хитрый.

Я подняла глаза.

– Папа... – проговорила тихо, почти шепотом. – Папа, это я, Мелисса...

Хозяин ошалело замер.

– Папа... – повторила я.

На его лице удивление сменилось растерянностью, которая превратилась в испуг. Испуг перешел в ужас.

– Мелисса, – выдохнул он.

– Что ты делаешь, – прошептала я. – Папа...

Он попятился, неуверенно, точно пьяный. Лицо напоминало терракотовую ацтекскую маску. Маску ужаса.

– Папа, что ты натворил?

– Да... да, – пробормотал он, словно просыпаясь. – Я сейчас, дочка... Сейчас.

Он раскрыл рот, будто зевая, сунул туда ствол и нажал курок.

Выстрел – грохот и одновременно хлюпающий звук – звук, который я и сейчас могу проиграть в моей памяти, точно магнитофонную запись. Его затылок, разлетающийся кровавым фейерверком по потолку и стене, картина, которая мне снилась почти каждую ночь на протяжении нескольких месяцев.

В те дни я не спрашивала себя, кто помог мне, что за отважная энергия вселилась в меня и спасла нас от смерти. Никому об этом не рассказывала. Даже полиции. Впрочем, они не очень интересовались подробностями, им и так все бы-

ло ясно. Наверняка наши прихожане разглядели бы в чудесном избавлении Божье участие – ну кто, кроме всемогущего Иеговы, мог так логично и остроумно наказать грешника и спасти праведников. Только Он! У меня, если честно, такой уверенности не было.

Мама так никогда и не оправилась. Ее положили в клинику, врачи поставили диагноз: посттравматический синдром. Думаю, все было гораздо хуже, беда началась раньше, еще в Москве. Наша жуткая история просто ее добила. В больнице маму кололи всякой дрянью – транквилизаторами и антидепрессантами, от которых она все время спала, а когда бодрствовала, то никого не узнавала. Меня иногда называла Мелиссой.

От церкви меня тошнило, в вечерних проповедях Джошуа непременно, но как бы мимоходом, упоминал о «сестре нашей Софии, нуждающейся в наших молитвах».

– Отец небесный, с воплем крепким и плачем горьким обращаемся к Тебе: не помяни наших беззаконий и неправд, но яви милосердие свое.

– Яви милосердие свое, – толпа послушно повторяла за ним.

Смирение паствы, кротость моего отчима граничили с кретинизмом и бесили меня; в их религиозной благодати я видела лишь лицемерие и ханжество. Их Иегова стал моим личным врагом. Кого еще я могла винить в нашей беде? Из-за него, из-за их Бога, я очутилась в этой чертовой Америке,

из-за него мы с мамой оказались на той проклятой окраине. И это факт! После того как я пламенно выложила свои факты отчиму, он перестал разговаривать со мной. В начале августа я убежала из дома.

8

Калифорния. Я ничего о ней не знала, мне нравилось звучание слова – Калифорния. По-московски протяжное «а», леденцовое «ли», бархатистое «фо». Еще мне казалось очень важным иметь какую-то цель, а не просто бежать в никуда. Из дома я украла двести пятнадцать долларов, все, что нашла в жестяной коробке из-под миндального печенья у матери в спальне. До побережья Тихого океана добралась в конце ноября. Дальше бежать было некуда, дорога уперлась перпендикуляром в бетонный пирс, передо мной лежала бескрайняя водная даль. Океан я увидела ночью – черная ворчащая пустыня с дорожкой от луны, блестящей, будто кто-то рассыпал там бутылочные осколки. Город Сан-Франциско уже всюю начали наряжать к Рождеству пестрыми гирляндами, слюдяными ангелами с длинными золотыми трубами и венками из фальшивой хвои, увитыми багровыми лентами.

По прямой от Арканзаса до Калифорнии полторы тысячи миль, на самолете из Литл-Рока в Сан-Франциско можно добраться за три часа, мое путешествие заняло почти четыре месяца. Я пересекла границы шести штатов. В Аризоне от-

бивалась камнями от койотов, в пустыне Нью-Мексико чуть не провалилась в гнездо к гремучим змеям. Где-то на полустанке в штате Юта была атакована сворой бродячих собак.

Люди вели себя не лучше: в Денвере, штат Колорадо, меня пытался изнасиловать старик священник, пустивший переночевать в церковный сарай. Это случилось в октябре, к тому времени я уже носила бритву, пользоваться которой меня научила Карла, одноглазая мексиканка, торговавшая наркотой на железнодорожной станции в Лонгвилле. Стоя на площадке последнего вагона товарного поезда, ушедшего в Сан-Диего, я наблюдала, как красные огни семафоров переключаются на зеленые и плавно-плавно уплывают в фиолетовую ночь. Да, рубины и изумруды – эти бескорыстные самоцветы моих нелепых странствий, к тому времени у меня осталось двадцать семь долларов, я ощущала себя абсолютно свободной и совершенно никому не нужной во всем мироздании.

Канзас разочаровал: штат состоял из кукурузных полей, пыльных дорог, разбитых грузовиков с похотливыми фермерами; совершенно непонятно, какого черта с такой страстью в эту дыру рвалась Элли из комфортного Изумрудного города.

Северная Калифорния зимой туманна и тиха. Сан-Франциско похож на сон, на мираж; знаменитый мост через залив плывет в молочном мареве, воды не видно, гигантские опоры тонут в ленивых облаках. Мокрое время течет едва-едва, иногда почти замирая. Крыши домов тускло сияют, будто их

только покрасили, зелень листьев похожа на лак, ветку кипариса хочется тронуть раскрытой ладонью. Пахнет мандариновыми корками, пахнет детством. От всего этого хочется плакать.

Невесомая, с прозрачной головой и пустым сердцем, я бродила по мерцающей брусчатке призрачных улиц, прикидываясь то желтыми огнями чужих окон, то дальним гудком рыбацьей шаланды. От меня не осталось ничего, лишь скорлупа, лишь оболочка. Я пыталась заполнить пустоту, пыталась вобрать в себя чужую жизнь – туман, ночь, камни мостовой – что угодно. Ведь не может человек жить, если внутри у него пусто. Ночевала на пляже, кутаясь в стеганое одеяло (да, я его украла). То ли во сне, то ли наяву из океана выползал туман, дремотно растекался по черной, как крышка рояля, водной глади залива. В сизом мареве тонул остров Алькатрас, исчезало здание тюрьмы, мутнел и умирал глаз маяка. Из непроглядной мглы теперь доносился звон колокола, унылый и глухой, похожий на звук мокрой якорной цепи.

Меня подобрала компания лесбиянок. Четыре девицы плюс задорный кобель неясной масти и сомнительной породы по кличке Калигула. Девицы направлялись в Биг-Сур – самое красивое место на нашей поганой планете, как заявила Рэй, пригожая, как молодой матадор, мулатка. Ее смуглое тело, до самой шеи покрытое узорами замысловатой татуировки, казалось отлитым из звонкого упругого металла.

Когда она, голая и мокрая, с шестифутовой доской для серфинга, выходила из океана, на меня накатывала меланхолия за мою непоколебимо упрямую сексуальную ориентацию.

Мы покинули флегматичный Сан-Франциско до рассвета, фонари сонно пятались в чернильные лужи на черном асфальте, по пустым дорогам на дикой скорости с какой-то тупой обреченностью гнали редкие машины. Наш дряхлый мини-автобус, проплутав по окраинным улочкам, крутым, как американские горки, наконец вырулил на шоссе номер один. Дорога вытянулась в струну и понеслась на юг.

Рэй беспечно придерживала баранку одной рукой, в другой – сигарета, а чтобы стряхнуть пепел, она просто выставляла окурок в окно. Она слушала мою историю не перебивая, лишь изредка бросала пристальный взгляд, точно проверяя, не заливаю ли я. Тихо бубнил приемник, девчонки сзади спали, Калигула с кем-то ругался во сне, ворча и похрапывая. Я, зажав ладони между колен, смотрела на мелькающие справа пузатые бетонные столбы и говорила, говорила. Рассказывала про Москву, про дачу в Снегирях, про то, как мы с дедом ушли кататься на лыжах в лес и заблудились. Как дед учил меня стрелять из своего именного «нагана». Рассказывала, как пахнет декабрьский вечер, когда тихий снег падает, а звуки становятся мягкими, будто ватными. Рассказала про мать, про Арканзас. Про тот день.

– Вот ведь гадость! – Рэй зло сплюнула в окно. – Мразь!

– Кто?

– Мужики! – Она воткнула окурок в банку из-под колы, внутри зашипело, и из дырки выпорхнула сизая струйка дыма. – Мерзавцы и подонки! Закомплексованные ублюдки! Все горести мира от их ущербности, от их убожества. Недаром первого мужика Бог слепил из грязи!

– Из глины...

– Грязь по сути, мразь по содержанию. Скрюченный стручок в портках вместо мозга. Весь их мир крутится вокруг стручка – амбиции, драки, войны! Каждый подпрыгивает, орет – у меня, у меня длиннее! Фрейд прав на сто процентов, но только касательно мужчин. Мы, женщины, устроены гораздо сложнее.

Дорога стала сужаться, полезла вверх. Покатые холмы, невинно украшенные апельсиновыми рощами, вдруг вздыбились и превратились в настоящие скалы. Дорога запетляла, начался настоящий горный серпантин. Рэй снова закуривала, закусив сигарету и щурясь от дыма, врубала пониженную передачу и с плотоядным удовольствием топила педаль газа. Мотор надсадно рычал. Рэй упрямо давила педаль в самый пол. Казалось, еще чуть-чуть – и мы взлетим.

Теперь мы гнали по карнизу, слева отвесной стеной подступал дикий, весь в рубцах, шрамах и металлических блестках, гранит, справа зияла бездонная пропасть. Нет, не бездонная – далеко внизу синел океан. Он растекался бесконечной равниной, живой и пульсирующей; океан дышал. Его первобытное величие пугало, мне отчетливо было видно, как

в лазорево-гуманной дали закругляется горизонт.

Я открыла окно. В прокуренный салон ворвался сырой дух моря, густой и соленый. Высунув голову, я зажмурилась. Под нами, далеко внизу, как дальняя канонада, гремел могучий прибой. Холодный ветер пополам с горьким запахом можжевельника и цветущего розмарина бил в лицо.

Кто знает, может, еще не все потеряно. Может, еще осталась надежда.

– Гляди! – Рэй ткнула рукой в открытое окно. – Киты!

Далеко-далеко, у самого горизонта, где ртутная гладь воды перетекала в перламутровую дымку неба, я различила какое-то движение, потом увидела два серых холма. Две спины. Перекатываясь, то появляясь, то исчезая, они двигались на север, в сторону Сан-Франциско. Рэй притормозила, съехала на обочину, нависшую над пропастью. Заглушила мотор.

– Слушай... – прошептала она.

Сперва я не слышала ничего, кроме мощного дыхания прибоя – вдох, выдох, пауза. Вдох, выдох, пауза.

– Слышишь?

К гулу океана добавился осторожный стрекот кузнечика, чириканье невидимых птах.

– Ну? – шепнула она мне в ухо.

Тут я не только слышала, я увидела. Один из китов, тот, что плыл первым, послал в небо серебристый фонтан воды, и до нас докатился низкий протяжный звук. Властный, слов-

но сам Бог дунул в гигантскую басовую трубу. К нему добавился второй голос, выше. Этот напоминал гудок океанского корабля. Два голоса сплелись в величественный дуэт, я застыла, боясь пошевелиться, точно могла помешать гигантам выдуть свои мелодии. Киты плыли на север, киты пели. У меня отчего-то сжалось горло, я тайком вытерла кулаком щеку.

Мы долго ехали молча. Дорога карабкалась все выше и выше. Рэй выжимала газ и уверенно входила в поворот. Наш автобус, алчно проглатывая виражи серпантина, несся по самому краю. От бездны нас отделяла полоска пыльной травы, чахлые кусты можжевельника, да редкие бетонные столбы. Мы пронеслись сквозь черноту гулких туннелей, пролетали, едва касаясь асфальта, по ажурным виадукам, растянутым, точно паутина, над бездонными ущельями.

Солнце выползло из-за горы, лучи осветили океан, по поверхности пролегли полосы разных оттенков синего – от нежной бирюзы до глубокого ультрамарина. У самого горизонта звонко вспыхнула жилка расплавленного серебра. За этой ослепительной полосой океан таял и незаметно превращался в небо.

Неожиданно Рэй начала говорить. Тихо, точно сама с собой.

– Жила на свете девчонка. Звали ее... – она запнулась, – звали ее Рэй... Или Катя. Это не так важно. Каждую девчонку как-нибудь зовут, правда? Ведь дело тут не в имени, а в

том, что каждая девчонка рождается с хрупким сердцем. Это сердце так легко расколоть, и нет такого клея, который бы мог склеить осколки. Да и что это за жизнь, когда вместо живого сердца у тебя в груди колючий мусор? Жизнь нашей девчонки не задалась с самого начала, такое тоже часто случается: родители не понимали дочь, учителя пытались выдрессировать ее в цирковую мартышку, глупые соседские дети потешались над ней, обзывали горячкой и недотрогой. Девчонка плакала, она убегала в лес или бродила по берегу реки, обдумывая разные способы самоубийства – ты себе не представляешь, сколько детей решаются на это в нашем гнусном мире.

Рэй щелкнула ногтем по пачке сигарет и губами вытянула одну. Она курила как паровоз.

– Как-то в лесной чаще она наткнулась на хижину. Жилище казалось заброшенным, трава была по пояс, из травы торчали красные шляпки огромных мухоморов. Папоротники и лопухи доставали до самой крыши, да и крыша поросла диким мхом, но из трубы вился белый дымок. Девочка открыла дверь и увидела...

– Страшную ведьму с острыми клыками! – засмеялась я. – И по полу раскиданы черепа и человечесьи кости, так?

– Нет, не так, – Рэй чиркнула зажигалкой. – Что за садизм? Это что – национальная русская черта? Славянский экстаз?

Она со вкусом затянулась.

– Нет, в хижине жила не ведьма, а колдунья – старая и мудрая. И добрая. Без каннибальских склонностей.

– Скучно-то как...

– Это не триллер, детка. – Она покачала головой и продолжила: – Разумеется, колдунья как только взглянула на девочку, так сразу поняла все горести и печали...

– И подарила ей волшебную палочку! – перебила я. – И девочка тут же превратила учителей в жаб, а соседских детей в крыс...

– Господи! Заткнись и слушай! Или я не буду рассказывать!

Я смиренно, в молитвенном жесте, сложила ладони.

– Колдунья поставила на огонь три котла. Во все три налила воды. В первый положила картофель, во второй – яйца, в третий кинула зерна кофе. Вода закипела, старуха и девочка сели на скамейку. Сидели и молча смотрели на огонь, на бурлящую воду. А через двадцать минут колдунья погасила огонь и сказала: «Слушай, смотри и запоминай! Картошка, яйца и кофе – такие разные, совсем как мы – люди. Картошка – твердая, яйца хрупкие, кофе сыпучий. Мы подвергли их одному и тому же испытанию. Огонь и кипящая вода похожи на жизнь – горячую и бурлящую, на невзгоды, которые выпадают нам. Но посмотри, насколько разный итог: картошка до этого была тверда, как камень, а стала податливой и мягкой; беззащитное яйцо приобрело крутую упругость; а кофейные зерна изменили свое окружение, превратив воду в кофе».

Колдунья налила ароматный кофе в глиняные кружки, одну протянула девочке. «То же самое происходит и с нами, с людьми. Мы не можем не меняться, когда жизнь бурлит вокруг, как кипяток. Но как меняешься ты? – превращаешься в рыхлую картошку или становишься крутым, как яйцо? Или, подобно кофейным зернам, делаешь из воды кофе? Меняешь жизнь вокруг себя».

Рэй замолчала, я тоже уставилась на дорогу. Я не картошка и уж точно не кофе, наверное, яйцо. Но не совсем уж крутое, в мешочек. А иногда все-таки картошка. Почему-то подумала про своего деда, для него пришлось бы придумывать отдельную категорию. Персональную – категорию генерала Каширского.

Удивительное дело, но с годами дед становился мне все ближе и ближе, иногда мне казалось, что он совсем рядом, иногда... Да, иногда мы беседовали. Да-да, точно так же, как я сейчас говорю с тобой. Пойми, я не верю в нечистую силу, в реинкарнацию и прочую чепуху, но ведь наверняка существует какая-то таинственная связь, генетическая или еще черт его знает какая! Память крови, что ли... Не может не существовать! Ведь мы не кролики! Какая глупость считать, что смысл деторождения лишь в животном воспроизводстве себе подобных. А как же разум? А как же душа, черт побери? Ведь Бог, или Природа, или какой-то таинственный Великий Создатель наделил человека, и только его, разумом и душой. Посмотри, он сконструировал вселенную так логично,

так хитроумно: эти узоры на бабочках, полосы на зебрах, а эти розовые фламинго! – посмотри на облака, на волны, на закат и восход! Какая точность деталей, какая изысканность линий, какая сочность красок! А звезды! Бездонное небо – какая смелость фантазии! Бесконечность – мы даже понять не можем, что он имел в виду. Так неужели ты считаешь, он человека, свое главное творение, не продумал до доньшка? До последней детальки, до крайней черточки! Не довел до логического абсолюта. До совершенства.

Часть вторая. Огонь

9

Одержимость. Вот ключевое слово. Если бы мне нужно было выбрать всего одно слово, чтобы выразить квинтэссенцию, суть характера моего деда, я бы выбрала именно это слово – одержимость. Но что такое одержимость? Любовь, помноженная на страсть? Розовый хор серафимов или вой лилового беса? Ненависть, смешанная с азартом, восторг необузданного безумия? Пыл сердца, экстаз души? Что это, высшее проявление священного начала, взлет божественного духа? Благодать? Или все-таки поцелуй Люцифера, смрад серы и бездна ада? Грех? Порок?

Одержимость. Да, одержимость. На мой взгляд, одержимость – это чудесная энергия огромной мощи, термоядерное топливо, залитое в душу, и, как любая энергия, она может быть светлой или темной, созидательной или разрушительной, доброй или злой – тут все зависит от цвета твоей души.

Мой дед Платон Каширский обладал безукоризненной для красного генерала родословной: он происходил не просто из крестьян, а из самых низов этого класса – из батрацкого сословия. Поротой плетью на конюшне, униженной и

поруганной касты.

Дед его – Данила Хромый, холоп, а по сути раб князей Ахмат-Каширских (спасибо им за нашу звонкую фамилию) – родился в Липецкой слободе Землянского уезда Воронежской губернии. После реформы 1861 года, которая началась еще при Александре и растянулась на сорок лет, он получил долгожданную свободу и кусок болотистой земли в низине, за десятину которой нужно было платить подати и выкупные. Долги и непомерные платежи разорили хозяйство, через два года, оставив дом и никчемную землю, дед Данила с семьей подался на юг. Говорили, что за рекой Дон земля щедрая, а зимы ласковые. Но и на Дону жизнь оказалась не легче: казачий край был богат, но казаки не спешили делиться с чужаками. Их тут называли «пришлыми», считали низшим сословием, почти скотом. Вся земля принадлежала помещикам и казакам, уделом «пришлых» было батрачество. Казак мог безнаказанно избить или даже убить батрака, а единственным судом и законом на Дону был казачий атаман. С государевой медалью на груди, атаман носил ее на золотой цепи – лицевую сторону украшал двуглавый орел, на оборотной было выбито имя атамана, – с шашкой на боку, в шароварах с лампасами, в руке насека – посох с серебряным набалдашником в виде львиной головы, атаман в станице был царь и бог. А каких только налогов не придумывали атаманы для «пришлых» – налог на рыбалку, налог на сбор грибов и ягод, налог на землянку, на окно и трубу в этой

землянке, налог на кур и гусей.

Там же, на Дону, родился отец моего деда, мой прадед Василий Каширский. На Дону и вырос; не имея своего угла, он кочевал из станицы в станицу в поисках поденной работы. Любой работы – самой грязной, самой тяжелой, часто работал за хлеб, за ночлег. Чистил конюшни и свинарники, обдирал туши, дубил кожи. Батрацкая доля забросила его в станицу Раздорскую, где он женился на батрачке из бывших крепостных и обосновался на хуторе Ясном. Там, на берегу Донца, рядом с Маланьиным бродом, в землянке под камышовой крышей, с одним окном, затянутым вместо стекла бычьим пузырем, в апреле предпоследнего года девятнадцатого века, появился на свет мой дед. Окрестили его Платоном.

Я не верю в случайности, не верю в совпадения. Не верю в хаотичность бытия. Мир устроен гораздо умнее, чем нам кажется; неспособность или нежелание увидеть логику явлений и хитросплетение событий мне видится ущербностью человека. Ограниченностью его интеллекта. Если явление тебе непонятно, не старайся втиснуть его в систему своих убогих знаний – просто прими как данность. Просто поверь. Как ты веришь в Бога, в рай и ангелов. А до этого свято верил в слонов, стоящих на черепахах и подпирающих плоскую, как блин, землю. В домовых и леших, в русалок, обитающих в лесном пруду.

Разумеется, семья неграмотных батраков не имела ни малейшего понятия об античной философии. Я уверена, что к

ученику Сократа и учителю Аристотеля имя моего деда никакого отношения не имеет, но все же, нарекая его Платоном, мои предки интуитивно прочертили вектор судьбы сына. Мистическую траекторию, пронзившую пространство и время, которая, подобно сказочной стреле, выпущенной наугад из лука, угодила своим дальним острием прямо в меня.

Философ Платон дал первое определение человеку: «Человек – это бескрылое существо на двух ногах, с плоскими ногтями, восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях». Суть человека – душа, Платон привел четыре аргумента в пользу бессмертия души. Душа существует вечно, странствуя из тела в тело: «Если бы все, причастное жизни, умирало, а умерев, оставалось бы мертвым и вновь не оживало, – разве не совершенно ясно, что в конце концов все стало бы мертво и жизнь бы исчезла?» Мы согласны, нас только смущает отсутствие памяти о прошлых жизнях, верно? Но мы с трудом припоминаем наше собственное детство, оно представляется островками смутных картин, полуфантазий-полусновидений, за достоверность которых мы тоже не поручились бы. Разглядывая старые фотографии, мы не можем вспомнить имен лучших друзей, лица некоторых выглядят абсолютно незнакомыми, – а ведь сколько задорных дней провели мы вместе, сколько игр в «прятки», в «войну», в «жмурки» было сыграно, сколько песочных куличей испекли мы вместе в песочнице. Где эта память, что с ней стряслось? Куда она исчезла? А кто помнит свое младенчество?

Никто. Даже те, которые с таинственным видом утверждают, что припоминают свои первые дни на земле.

На мой взгляд, душа подобна банной простыне: пространщик выдает ее гостю, тот накручивает простыню вроде римской тоги, потеет в ней, вытирает об нее жирные от разделки вяленого леща руки. Пачкает и мнет, какает на нее пивной пеной. Вымывшись и напарившись от души, гость бросает скомканную простыню в угол. Оттуда она попадает в прачечную, где ее стирают-кипятят, после сушат и гладят. Прыскают освежителем с запахом майского луга или лавандовых полей. А под конец, аккуратно сложив, выдают новому гостю. Ни намека на леща, ни следа от «Жигулевского» – простодушный посетитель невинно вдыхает лаванду, гладит крахмальную белизну девственной материи. И вальяжным тоном римского патриция просит пространщика принести полдюжины пива.

Дед мой родился и вырос в убогой землянке. Слепой и тесной норе, которую его отец выкопал своими руками. Кротовый лаз с низким земляным потолком, куда вползали на четвереньках. Из стен, оплетенных ивовыми прутьями, сочилась вода, лезли черви.

А рядом, на холме, красовались двухэтажные курени богатых станичников, полукаменные, с кирпичным первым этажом – «низом» и деревянным вторым – «балясом», окна в белых наличниках, резных, чисто кружева плетеные; стены куреней по традиции выкрашены были веселой солнеч-

ной краской – желтой или охристой. И крыши все ладные – под тесом, а то и под жестью. На просторных террасах цвели горшки с геранью, стояли кадки с олеандрами. Густая зелень выглядывала из-за плетней, в летних беседках, увитых виноградом, казачки варили душистый взвар, тут же на ветру покачивались сухие пучки целебных трав и полевых цветов, перетянутых для красоты пестрыми лентами. По двору неспешно гуляли сытые куры, в хлеву дремали холеные свиньи.

Станица Раздорская – богатая и сытая, соседи завистливо величали ее царь-станицей. И вправду, земли те были царскими не только по прозванию. Раздорские казаки считали себя чуть ли не аристократией, кичились родством с самим Ермаком Тимофеевичем. По преданию, после разгрома хана Кучума и завоевания западносибирских владений Золотой Орды аж до самого Тобола и реки Тагил, Иван Грозный одарил легендарного атамана и его дружину золотом, серебром и тучными землями по берегу Донца.

Казак – это прежде всего воин. Витязь. Рождение мальчика в казацкой семье считалось счастьем, семья тут же выделяла ему надел земли – «пай». С трех лет мальчишку учили рукопашному бою, отец передавал сыну семейные секреты и тайные приемы. В каждой семье были свои хитрые удары, ловкие подсечки, коварные броски. Пацан в шесть лет получал в подарок шашку, ему шили форму, такую же, как у взрослых: шаровары, сапоги, фуражку с красным околышем

и синим верхом. Ему покупали коня – пусть привыкают друг к другу, казак и лошадь в бою – единое целое. Отец сажал мальчишку на коня, учил держаться в седле. Торжественно вручал сыну нагайку, короткую конскую плеть. Нагайка – не только оружие в ближнем бою, но и символ мужской власти. Нагайкой наказывали провинившихся казаков по решению совета старейшин или приказу атамана. Стрелять учили с семи лет, с десяти – владеть шашкой. Сперва ставили руку: учили рубить тонкую струю воды, чтоб брызг не было. После, сидя на коновязи, казачок учился «рубить лозу» – искусство заключалось не только в силе и точности удара, но и под каким углом клинок резал лозу. Овладев этим мастерством, мальчишка садился на коня и учился рубить на скаку.

Платону никто не подарил коня, не было у него ни шашки, ни фуражки с красным околышем. У него до пяти лет не было штанов, он ходил в долгой рубахе, старой отцовой. Не было у него и сапог, лапти да онучи, даже зимой. Лет в семь он спросил отца: почему у нас нет ничего? На то Божья воля, ответил тот. Но ведь Боженька добрый, удивился мальчишка, ведь Он любит всех. Или я в чем-то проштрафился и Он решил меня наказать? Но в чем мой грех? Ты батрак и сын батрака, сказал отец. Но разве это грех быть батраком?

В восемь лет моего деда определили «мальчиком на побегушках» в соседский магазин купца первой гильдии Африкана Лоскутова, бывшего коробейника, удачно разбогатевшего на мануфактуре. Магазин торговал английским сук-

ном, кожей, лентами. Даже брюссельскими кружевами. Кроме магазина купец владел кузней и арендовал у казаков шесть десятин выпасных лугов. Весь день Платона гоняли хозяин и приказчики, а после закрытия мальчишка мыл и скоблил затоптанные полы магазина. Купец ничего не платил ему, лишь кормил и одевал. Кормил скверно, одевал в обноски. Спал Платон тут же, в кладовке магазина.

С усталостью и голодом, с оплеухами от хлыщей-приказчиков, с нескончаемым унижением мальчишка постигал горькую правду холопской судьбы. Ты – грязь. Из грязи вышел, в грязи живешь, в грязи и сдохнешь. Вот она, твоя доля, вот она, твоя правда. Но вместе с этой правдой в его сознание втекала и горькая сила. Нет, не обида и не зависть – объемней, мощнее. Что-то жгучее, как зреющий нарыв, что-то неукротимое, как святая месть. Уж такая месть, что и жизнь положить не жалко. Что это было? – первобытное понятие о всечеловеческой справедливости? Вера в изначальную доброту мироздания? Христово милосердие, про которое говорил батюшка в церкви?

Через год Лоскутов определил его в свою кузницу к Тихону Крюкову. На побегушки взяли нового пацаненка. Платон к тому времени вытянулся и полностью оправдал свое имя (Платон по-гречески значит «широкоплечий»). Он стал подручным кузнеца, таскал антрацит и воду, раздувал мех. Работал весь день, с рассвета и дотемна. Кузнец Тихон Крюков, одноглазый и страшный, с прокопченной гнедой боро-

дищей, тоже из бывших холопов, не только наставлял пацана по кузнецкому ремеслу, но и начал учить грамоте. После работы при тусклом свете каганца Платон, роняя голову в потрепанный букварь, складывал из букв свои первые слова «Маша ела кашу. Маша хороша». Через полгода он уже запоем читал «Айвенго» и «Следопыта».

На Масленицу в станице устраивали кулачные бои. «Хуторские» бились с «городком», а «бродские» с «балкой». Сначала дрались взрослые мужики, потом подростки. Правил особых не было: драться кулаками, никаких свинчаток, ну и лежачего не бить.

– К тому-то времени я уже вовсю молотобойничал, не на подхвате, уже ковать выучился: вытяжка, рубка, осадка – все умел. Освоил литье, горновую медную пайку. А от кувалды руки мои как клещи стали – во, гляди... – Дед показывал мне свою плоскую, как лопата, ладонь, медленно складывал пальцы, сжимал в крепкий кулак. – С какой же отрадой я на Масленицу колотил своих богатеев-соседей! С каким смаком квасил им носы! За себя, за бату, за деда... Юшкой по снегу свою клятву мести подписывал...

Дед осекался, умолкал. Виновато улыбаясь, гладил меня по волосам. Я представляла низкое весеннее небо, серый лед на реке, красные, как брусничный сок, кляксы на снегу. Станица Раздорская, Масленица, кулачный бой – я это вижу и сейчас, точно сама была там.

Началась война, по всей станице шла гульба, гремели про-

воды. Накрывали столы, водка рекой текла, пировали – чисто праздник. Бабы плакали, девки пели, плели венки и бросали в реку. Вечерами водили хороводы, жгли костры, искры летели в самое небо. Для казака война – ремесло, бой – улада. В поход! В поход собиралось великое войско Донское. В поход за славой, победами, Георгиевскими крестами. Седлали коней, правили клинки, точили пики.

«По коням!» – зычно командовал есаул, ловко запрыгивая в седло и обнажая сияющую сталь шашки. «По коням!» – эхом вторили ему сотники. «По коням!» – отзывались хорунжие. Станица Раздорская отправлялась в поход.

Тогда же старуха Гурьяниха с Соленого хутора как-то под вечер, спускаясь в балку к роднику, нашла подкидыша – младенца в богатой люльке и батистовых кружевах. Принесла зыбунка в курень, где он тут же обратился в шишигу – сморщенную и безобразную карлицу. Шишига кривлялась, размахивала лохмотьями, стучала куриными лапами по полу и каркала: «Лиху быть! Лиху быть!» А после вылетела в трубу и исчезла в беззвездном небе. Гурьяниха через неделю угорела, ее тихо похоронили на Ржаном кладбище, на задах, у самой ограды, а про тот случай в станице судачили еще долго, припоминая шишигу всякий раз, когда приключалась какая-то беда. А беды в Раздорскую так и посыпались.

Деда призвали в армию на третий год войны. К тому времени в станице остались одни бабы, девки да старики. Возвращались из лазаретов калеки, злые, на костылях, с Георг-

гиевскими крестами. Лешка Фараонов вернулся с двумя золотыми «Егориями», первой и второй степени, и с обрубком вместо правой руки, Степку Чернозуба привезли с повязкой на глазах, он ослеп от немецкого газа где-то в Галиции.

Дела на фронте шли худо. Платона, ему едва исполнилось восемнадцать, мобилизовали вместе с резервистами из запаса, мужиками под сорок, почти стариками. Он попал в город Армавир, там формировали запасной драгунский эскадрон для пополнения Кавказской кавалерийской дивизии под командой генерал-майора князя Белосельского-Белозерского.

Еще по дороге, развалиясь на вагонных лавках, мобилизованные в хвост и в гриву честили никчемного императора, ввязавшегося в непутевую войну. Обзывали царицу Сашкой и немецкой кобылицей, ругали каких-то генералов и министров, но пуще всего костерили Гришку Распутина. «Наш царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием!» – гоготали мобилизованные, ломая черными руками пшеничные караваны, заботливо завернутые женами в расшитые рушники. Гоготали да топали коваными сапогами, хохотали и чавкали, запивая домашний хлеб ржавой водой из мятых жестяных кружек. Платон хмуро сидел в углу, он никогда раньше не слышал, чтоб о царе – помазаннике Божием – говорили такое похабство. От хохота, ругани и мата становилось муторно, противно. Он сидел, надвинув овечью шапку на глаза, и прикидывался спящим, сквозь щелки век наблюдая за шумными соседями.

– Нашего брата на убой, а у генералов пир горой!

– Жрут сладко, аж морды от шоколада лопаются! Во как!

На самобеглых колясках своих сук стриженных катают. С шампанским!

– Ага! И ликтричество у них в столице так и прет отовсюду, гля – ночь, а светло как днем! Жируют, сволочи!

В Армавире, когда их определили по казармам, недовольство среди мобилизованных только усилилось. Сновали какие-то агитаторы – мужички из рабочих, говорливые и наглые, совали солдатам прокламации на желтой дрянной бумаге; от них руки пачкались типографской краской, но солдаты прятали их за пазуху, а после тайком читали. Читал эту крамолу и Платон: про братания на немецком фронте, про расстрелы, про приказ генерала Брусилова от 15 июня: «Нужно иметь особо надежных людей и пулеметы, чтобы, если понадобится, заставить идти вперед и слабодушных. Не следует задумываться перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или, что еще хуже, сдаться в плен». Платон не верил – по своим из пулемета? Не может быть правдой, никак не может – чтоб русский русского из пулемета.

Клим Ярофеев, степенный мужик из-под Шуйска, недобро усмехнувшись, сказал: «Еще как может, парень!» Клим воевал в Японскую, он рассказывал, как самураи, форсировав реку Ялу, ударили во фланг восточному отряду Маньчжурской армии.

– Таким же пацаненком был, навроде тебя. Мечтал об «егориях», о славе – балбес. Косоглазые поперли, а наш генерал Засулич струхнул, да и Стоссель с Витгефтом оробели, вот и прорвались япошки к Порт-Артуру. Ни армия, ни флот наши, ни царь-государь даже не чухнулись. Заперли всю нашу эскадру в бухте косоглазые черти. А уж после была Цусима... Шутка ли, тридцать кораблей потеряли, семьдесят тысяч православных в плен угодили, про убиенных да покалеченных уж молчу. А все почему? Солдат русский труслив или моряк наш плох? Нет, солдат – молодец и моряк – герой! Командиры и генералы никудышные, да к тому же и царь дурак оказался, прости меня господи.

Клим свернул ловкую козью ножку, закурил.

– Вот и сейчас такая ж петрушка. Генералы через одного французы, да и государь...

Он досадливо махнул рукой, щурясь от кислого махорочного дыма, шумно вздохнул и замолчал.

Из Армавира их дивизию перебросили на Черновцы, но выгрузили на станции Сорокино, откуда, после недельного ожидания и всевозможных слухов, железной дорогой отправили в Баку. Один из самых нелепых слухов подтвердился – дивизию включили в состав экспедиционного корпуса генерала Баратова и, погрузив на суда, отправили по Каспийскому морю в Персию. На палубе корабля нарядный полковник из ставки Верховного главнокомандующего огласил приказ: в районе Багдада корпус должен был соединиться с ан-

глийскими войсками и совместно начать действовать против Турции.

Зима шестнадцатого года выдалась на редкость суровой, из-за потерь и болезней русская Кавказская армия генерала Баратова нуждалась в серьезном пополнении. В боеспособном состоянии осталось не больше половины личного состава. Резервистов и новобранцев перетасовали и раскидали по подразделениям. Платон очутился в третьем взводе, пятого эскадрона, 18-го Северского драгунского полка. Его взводным стал Семен, хваткий малый с дерзкими усами, цыганским чубом и двумя новенькими Георгиями на крутой груди.

Оставив персидский порт Энзели, дивизия двинулась на Багдад. Шли споро, турки не тревожили, изредка на арьергард нападали курды. Эти промышляли грабежом и мародерством. Курды действовали мелкими группами и от боя уклонялись. На подходе к Бекубе взвод был послан в разъезд с целью разведки подступов к городу. Турок в Бекубе не обнаружили, взводный отправил вестового с донесением командиру эскадрона, что путь свободен. Взвод разведчиков двинулся дальше в сторону Багдада.

Начались горы. Разведчики, оторвавшись от эскадрона, ушли далеко вперед. Дорога круто вскарабкалась вверх, забралась на сопку, и взвод почти уткнулся в хвост колонны турецкой армии. Турки не заметили разведчиков, взводный приказал спешиться, положить коней.

Вражеская колонна уходила за горизонт, тысячи, десят-

ки тысяч пехотинцев, всадников, артиллерийских повозок ползли на север. В сизой пыли, поднятой тысячью сапог и копыт, словно в мареве миража, тускло сияли штыки, блестяли шлемы, темнели малиновые фески пехоты и черные турбаны янычаров, на крупах коней пестрели узорные попоны, похожие на персидские ковры, ломовые лошади тянули трехдюймовые пушки, на больших колесах катились повозки, груженные тюками и ящиками с боеприпасами, – все это походило на грандиозный исход библейских пропорций и казалось, что тут, в этой пустыне, собралось все окрестное человечество Месопотамии.

Колонну замыкал обоз, две дюжины верблюдов, навьюченных мешками с провиантом – мукой, финиками, хурмой и галетами. Караван отстал, погонщики пытались вытолкнуть застрявшую на обочине арбу. Турки-солдаты из арьергардной охраны, обступив их, покуривая, наблюдали.

Взводный Семен, сорвиголова, отчаянный черт, приказал приготовиться к атаке. Конной цепью разведчики обогнули сопку и приблизились к туркам. Выждав подходящий момент, отряд атаковал караван. Стремительно и без единого выстрела удалось захватить двух языков – солдата и офицера. Пленных доставили в эскадрон, их допрашивал сам командир. Сведения оказались крайне важными: после потери порта Трабзон и выхода к морю была сформирована Третья османская армия под командованием Мехмета Вехип-паши. Именно на ее арьергард и наткнулась разведка. Турки пла-

нировали обойти наших и ударить во фланг Кавказской армии. Вестового с пакетом тут же отправили в штаб.

Эскадрон построили в каре, вынесли полковой штандарт. Прискакали два штабных адъютанта, после на вороном ахалтекинце появился сам генерал Баратов. Разведчиков называл героями, а взводного сравнил с юным Наполеоном. За мужество и проявленную смекалку всему взводу была объявлена благодарность, а командира взвода наградили Георгиевским крестом третьей степени. Его превосходительство лично повесил серебряный крест на грудь взводному. Тот, встав на стременах, лихо козырнул и весело гаркнул: «Служу Царю и Отечеству!» Это был его третий Георгиевский крест. Взводного звали Семен Буденный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.